

С.Н. Хрущев

Реформатор



Сергей Хрущев

Реформатор

«ВЕЧЕ»

2016

Хрущев С. Н.

Реформатор / С. Н. Хрущев — «ВЕЧЕ», 2016

«Реформатор» – так назвал свою работу С.Н. Хрущев, она рассказывает о внутренней политике Советского Союза в период 1953–1956 гг., переходе от сталинской диктатуры к цивилизованному управлению страной, от разрухи к относительному процветанию, от подготовки к войне к мирному сосуществованию. В центре исследования личность отца автора – Никиты Сергеевича Хрущева. В книге использованы обширные архивные материалы, воспоминания участников событий тех лет, в том числе и автора, а также результаты других исследователей, как российских, так и зарубежных.

© Хрущев С. Н., 2016

© ВЕЧЕ, 2016

Содержание

Пояснения ко 2-му изданию	6
Как писалась эта книга	7
Пролог	13
Начало начал	27
В Москву	30
Снова на Украине	35
На Украине после войны	37
Кто и как освобождал Киев?	41
Послевоенные хлопоты	48
Опять Москва	60
За столом у Сталина	64
Как прокормить москвичей?	67
Кукуруза, самое начало	71
Каковы силос и дурьян на вкус?	74
Грань между городом и деревней	77
Дома с заводского конвейера	81
1953 год	92
Как мы хоронили Сталина	102
Друзья и соседи	109
114 дней Лаврентия Берии	112
Конец ознакомительного фрагмента.	113

Сергей Никитович Хрущев

Реформатор

© Хрущев С.Н., 2016

© ООО «Издательство «Вече», 2016

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2016

Пояснения ко 2-му изданию

В новой публикации мы, прежде всего, исправили обнаруженные ошибки. Их оказалось достаточно много. Также мы восстановили допущенные в первом издании пропуски. Кое-что я дописал, к примеру, нашел ответ на вопрос: что означает на деле принцип коммунистического общества «от каждого по способностям, каждому по потребностям»? Ответ получился неожиданный, и я решил поделиться находкой с читателями. В предыдущем издании, с целью экономии места, издатель исключил все ссылки на цитируемые источники, заменив их списком литературы, что вызвало ряд нареканий. Теперь мы ссылки восстановили, но возрос объем. Поэтому решили разделить книгу на три части, так и держать ее с руками удобнее, и читать приятнее. К тому же дробление позволило снабдить текст справочными материалами: хронологией передвижений и встреч отца плюс краткими биографическими справками на упоминаемых в книге лиц. Не всех поголовно, а наиболее, с моей точки зрения, того достойных. Вот, собственно, и все. Надеюсь, что чтение позволит желающим получше разобраться в истории «хрущевского» десятилетия.

Приношу благодарность издательству «Вече» и его сотрудниками, взявшим на себя труд по переизданию «Реформатора».

С уважением, автор. 16 марта 2016 года

Как писалась эта книга

«Реформатор» – последняя книга в трилогии об отце. Логически она – первая, но хронологически, по мере написания, последняя. И в этом есть своя логика. Первую книгу, «Пенсионер союзного значения», издательство АПН (Агентство печати «Новости») опубликовало в 1991 году. Она – чистой воды воспоминания, рассказ о последних семи годах жизни моего отца, Никиты Сергеевича Хрущева, о его политическом заточении, о работе над мемуарами, о смерти и похоронах. Мне тогда очень хотелось выговориться, рассказать о том, о чем еще совсем недавно и упоминать-то запрещалось.

Неожиданно для себя я обнаружил, что у меня получается. Раньше ничего, кроме научных отчетов и служебных записок, из-под моего пера не выходило, а тут – сразу книга, сразу успех. Книгу перевели на английский, китайский, немецкий, французский, японский, корейский, норвежский, голландский, чешский и венгерский языки. В некоторых странах она стала бестселлером.

Второе, дополненное издание «Пенсионера» вышло в 2001 году в издательстве «Ваг-риус» под иным, менее адекватным содержанию, названием «Хрущев». Окрыленный успехом «Пенсионера», я засел за новую книгу, уже не только об отце и его деяниях, но и о себе, о моих коллегах-ракетчиках. Постепенно мемуары разрослись в рассказ о становлении Советского Союза в статусе сверхдержавы, о роли отца в этом процессе, о его концепции безопасности страны, о его взаимоотношениях с конструкторами и учеными, генералами и адмиралами, Западом и Востоком. Книга вышла объемистой, за семь сотен страниц, в ней сошлись половина на половину мемуары и исторические исследования. В процессе работы мне самому многое прояснялось в нашем прошлом, события обретали свою взаимозависимость, выстраивались логическими цепочками. Я все больше ощущал себя уже не просто любителем истории, а историком, историком Сверхдержавы.

Здесь уместен вопрос: что такое советская сверхдержавность? Одни считают советскую сверхдержавность всего-навсего пропагандистским мифом. Другие относят оформление сверхдержавности к сталинскому правлению конца Второй мировой войны. С первыми спорить не о чем – если Советский Союз не сверхдержава, то история холодной войны теряет содержание. Со вторыми я попросту не согласен.

Победа над Гитлером в мае 1945 года заставила наших союзников, в первую очередь США, считаться с СССР, со Сталиным, но в четко очерченных войной границах согласованного в Ялте и оккупированного советскими войсками географического пространства. За его пределами влияние Советского Союза сводилось на нет. Сталин пытался изменить раздражавшую его расстановку сил, но безуспешно, каждый раз получал по рукам. К примеру, сразу после окончания войны Сталин вознамерился присоединить к СССР иранский Азербайджан, уже несколько лет оккупированный советскими войсками, но не тут-то было: американцы надавили, и ему пришлось вывести свои дивизии.

Не удалось Сталину установить контроль и над приграничными, исторически армянскими и грузинскими, но после Первой мировой войны юридически турецкими территориями. Турки, сочувствовавшие и помогавшие Гитлеру, по существу, смирились с неизбежностью потери, даже отвели свои войска от границы. Но вмешались американцы, и Сталин сдал назад.

Не повезло ему и на Западе. Сразу после окончания войны Западная Европа, колеблясь между Москвой и Вашингтоном, склонялась в сторону Москвы. Во Франции и особенно в Италии коммунисты оказались почти у власти, вошли в правительства, их победа на предстоящих выборах мало у кого вызывала сомнения. Американцам стоило немалого труда удержать у власти своих сторонников. Сталин воспрепятствовать не посмел.

На Балканах Сталин в те же годы не решился прийти на помощь повстанцам в Греции. Испугался американцев. Восстание подавили.

Сталин делал попытки вырваться за пределы очерченного союзниками круга. Вырваться с помощью военной силы. Видимо, он так и не осознал, что в новом ядерном мире попытка повысить свой статус такими методами столь же бессмысленна, как кавалерийская атака против танкового клина.

В 1948 году Сталин объявил блокаду оккупированных союзниками западных секторов Берлина. Ему казалось, что город, лишенный подвоза продовольствия, топлива, я уже не говорю обо всем остальном, не выдержит, капитулирует, как капитулировал в Сталинграде гитлеровский фельдмаршал Паулюс, окруженный советскими войсками. Сталин просчитался, американцы установили воздушный мост, наладили снабжение Берлина самолетами, и город выстоял. Вынужденный признать поражение, Сталин блокаду снял.

И наконец, провал затеянной с благословения Сталина Корейской войны. Россия Сталина, как ни крути, – держава могущественная, но региональная, а не сверхдержава.

Отец действовал иначе. Войну как инструмент упрочения позиций СССР в мире он с самого начала отверг, приступил к наведению сожженных Сталиным мостов с Западом, но вместе с тем не позволял никому ущемлять интересы собственной страны. Государственный секретарь США Джон Фостер Даллес называл такое поведение политикой с позиций силы, политикой на грани войны. Как отец, так и Даллес отчетливо представляли себе, где проходит эта грань, сами ее не переступали, но и противника держали за гранью. Тут все зависело от адекватности реакции, твердости в переговорах, трезвой прагматичности при принятии решений. Как только США пытались навязать свою волю в сфере интересов Советского Союза, отец не медлил ни минуты с ответом. В результате разгорался очередной кризис: Суэцкий, Берлинский, Ближневосточный, Дальневосточный и, наконец, Карибский. Опасная стратегия, но единственно возможная в противостоянии конкурентов, претендующих на сверхдержавность. Чуть дашь слабинку – и неизбежно окажешься на задворках. Кризисы грозили войной, но и учили лидеров обеих сторон взаимодействию, взаимотерпимости, правилам сосуществования в нарождающемся новом миропорядке. Шаг за шагом руководители СССР и США, а вслед за ними и других государств Запада и Востока притирались друг к другу. Не сразу, постепенно, мир привыкал к равноправному партнерству СССР и США.

Можно ли обозначить конкретный момент, когда Советский Союз стал сверхдержавой? На мой взгляд, можно. Советский Союз стал сверхдержавой в момент разрешения Карибского кризиса, в октябре 1962 года. Кризиса, впервые в истории продемонстрировавшего американцам не только чужую, но их собственную уязвимость, поставившего США, развяжи они войну, перед неотвратимостью возмездия. Первую половину XX века американцы, прикрывшись щитом двух океанов, Тихого и Атлантического, прожили в безопасности и, наподобие римлян, расположившихся на трибунах Колизея, наблюдали за битвами на полях Европы, выбирали момент, когда следует нанести по одному из противников решающий, смертельный удар. Даже в 1961 году, во время Берлинского кризиса, все оставалось без изменений. И вдруг, в октябре 1962 года, американцы осознали, что они больше не зрители, а потенциальные жертвы, наравне с другими участниками опасной игры. Эта новость так перепугала рядовых американцев, что после 1962 года они уже не смели, несмотря на все доклады ЦРУ о преимуществе США в ядерном потенциале, считать Советский Союз неровней. Именно тогда общественное мнение США признало СССР Сверхдержавой. Оно же через три десятилетия, в 1992 году, лишило Россию этого титула.

Первая редакция новой книги вышла в издательстве АПН в 1994 году, к столетию со дня рождения отца, название оказалось не очень удачным – «Никита Хрущев. Кризисы и ракеты». У одних оно ассоциировалось с популяризацией ракетных технологий, у других – с единственно запомнившимся кризисом, Карибским. При повторном издании я перерабо-

тал книгу и переименовал ее в «Рождение сверхдержавы». Вышла она в свет в издательстве «Время» в 2000 году, а в 2003-м то же издательство осуществило третье, дополненное издание. Книга кроме России опубликована в США, Китае и Германии.

Не могу не отметить, что в 2002 году архивисты-историки Александр Пыжиков и Александр Данилов позаимствовали у меня заглавие «Рождение сверхдержавы» для своей книги о послевоенных сталинских годах. Это не только неэтично, но и по существу, как я уже писал, неверно.

В 2000 году я засел за третью книгу об отце – «Реформатор». Собственно, замыслил я ее давно, да руки все не доходили. Начавшиеся в 1990-е годы преобразования в России заслонили тогда, даже в моем сознании, времена Хрущева. Постепенно туман рассеивался, «конструктивность» гайдаровских реформ все более обнажалась. Я потерял к ним интерес и вернулся к «своему» периоду в истории России.

До меня внутренней политикой Хрущева всерьез не занимался никто. На Западе, в Америке, где вышла большая часть книг об отце, его реформаторство мало кого интересует. Чужие реформы в чужой стране. Хрущев для американцев навсегда остался опасным соперником на международном поприще, а как он старался сделать советскую экономику более эффективной, преобразовать сельское хозяйство, накормить, обуть и расселить людей, их не занимало и не занимает. В СССР же на все, связанное с Хрущевым, даже на его имя, сначала наложил табу Брежнев. После советской власти россиянам, в том числе и историкам, стало не до истории, потом они увлеклись тем, что называли «эпохой Сталина».

Российские публикации об отце немногочисленны, в лучшем случае анекдотично поверхностны, часто лживо тенденциозны. Их авторы «обсасывают» жареные, не имевшие места в действительности, «факты». К архивам такие «историки» обращаться не привыкли. В результате знание об эпохе Хрущева не выходит за рамки анекдотов. Новая книга, как и предыдущие, содержит какой-то процент личных воспоминаний, но изначально я замыслил в ней реконструировать период 1953–1964 годов, базируясь не столько на собственной памяти, сколько на архивных изысканиях, на уже опубликованных документах, на воспоминаниях, причем чаще недоброжелателей отца – их дожило до наших дней больше, чем доброжелателей. Книга строится хронологически. Год за годом разворачивается повествование о попытках реструктуризировать экономику и саму власть, об отце и изобретателях панельного строительства, об аграрных реформах, о кукурузной эпопее – так, как она происходила на самом деле, об отце и его друзьях-ученых, академиках Лаврентьеве, Семенове и многих других, о борьбе за власть и об интригах вокруг власти. Маленков, Булганин, Брежнев, Суслов и многие другие для меня не символы и не портреты, а живые люди.

Так что же такое эпоха Хрущева? Ответ непрост. Достигнув в результате первой волны реформ 1953–1958 годов частичной децентрализации экономики, дробления ее на совнархозы, некоего пика в развитии, страна в 1959 году начала пробуксовывать. Три года (1959–1961) отец занимался поиском выхода, а с 1962 года он задумал новую, более радикальную реформу. Зиждилась она на трех китах: освобождении производителя, предприятий промышленности и сельского хозяйства от мелочной опеки сверху; сведении их взаимоотношений с государством к отчислению ему части прибыли, другими словами – уплате налога; и в области государственного переустройства – к демократизации общества, перетеканию властных полномочий от партии к советам всех уровней. Осуществить замысел отцу не хватило времени, но реализация уже после его отставки в октябре 1964 года в так называемой Косыгинской реформе 1965 года даже малой толики замысленного показала, что путь он избрал верный. Если просуммировать плюсы и минусы эпохи Хрущева, то при всех неизбежных в пору перемен издержках и неурядицах реформы отца дали ощутимый эффект.

Цифры как советской, так и антисоветской статистики свидетельствуют: в XX веке лучше, чем в «хрущевское десятилетие», россияне не жили ни до, ни после. Не могу утвер-

ждать, что все жили тогда хорошо, но лучше им пожить не пришлось. Подтверждение тому и продолжительность человеческой жизни: в 1964–1965 годах она достигла своего пика, превысила американскую, а затем пошла на убыль. Таковы факты. Однако, несмотря на факты, реформаторство отца даже в ученом мире почему-то принято считать неудавшимся.

Через двадцать лет после отца, в начале 1980-х годов, Дэн Сяопин в Китае, по сути, реализует то, что отец не успел сделать в Советском Союзе, и реализует с оглушительным успехом. У нас же после недолгого переходного периода 1964–1968 годов все покатилося под откос. В чем тут причина? В своей книге я попытался отыскать ответ и на этот вопрос.

Деградация Советского Союза, экономическая и политическая, после пика 1954–1965 годов представляется мне исторически незапрограммированной, не неизбежной. Страна и дальше могла развиваться по восходящей, если бы... если бы лидеры, пришедшие на смену отцу, не остановили, а продолжили реформы, продвижение к нормальной децентрализованной (рыночной, если хотите), основанной на уважении закона экономике и к демократии. Но они предпочли «стабильность», впали в извечную российскую спячку, в застой, в проедание накоплений предыдущего поколения. Похмелье после пробуждения оказалось ужасным, общество требовало одномоментных перемен, немедленного разрушения всего построенного ранее. Конечно, все хотели как лучше, но... Который раз Россия натывается на роковое «но»...

Циклы реформа – контрреформа (или застой) столетиями злым роком преследуют Россию. Последний из них, ему мы стали свидетелями во второй половине XX века, отличается от предыдущего второй половины XIX – начала XX века только деталями, в основном идеологического характера. Реформы императора Александра II сменились «стабильностью», застоєм царей Александра III и Николая II, за которым последовало пробуждение, всплеск недовольства и, как следствие, – революция, разрушение. Новый цикл реформа – контрреформа конца XX века привел к столь же катастрофическим для страны последствиям: контрреволюции 1991–1993 годов, упадку, разрухе.

Последнее время в угоду идеологии контрреволюцией принято называть события 1917 года, Октябрьскую революцию, а контрреволюцию 1991 года – революцией. Так приятнее для слуха людей, власть предрежащих. По мне, так хрен редьки не слаще. Однако, если отвлечься от эмоций, революция меняет старый уклад на новый, что и произошло в 1917 году с отменой частной собственности, а контрреволюция восстанавливает старые, отмененные революцией принципы взаимоотношений в обществе. С началом XXI века Россия входит в очередной цикл, выбирается из-под обломков контрреволюционных потрясений и примеривается к новой реформации, преобразованию олигархической мародерской экономики в продуктивную, к внедрению принципов демократии в общественные отношения. Здесь крайне важно не наступить на те же грабли.

Разбираться в перипетиях десятилетия 1953–1964 годов мне оказалось непросто. Я, историк-непрофессионал, вторгся на территорию, бдительно охраняемую дипломированными историками. Чужаков они не жалуют. Не миновала сия чаша и меня, я столкнулся не просто с недоброжелательностью, но и с намеками на необъективность, неправомочность заниматься деяниями собственного отца. Леонид Млечин в книге «КГБ. Председатели органов госбезопасности» даже обозвал меня родоначальником истории самооправданий. Сказано хлестко, но не очень объективно. Воспоминания детей и иных родственников государственных деятелей не менее ценны, чем любые другие источники, к тому же они уникальны своими деталями.

Даже грешащие чудовищными выдумками воспоминания Серго Берии («Мой отец – Лаврентий Берия») или более чем декларативная книжка Андрея Маленкова «О моем отце Георгии Маленкове» содержат, если приглядеться, немало полезной информации. Всякая история состоит из фактов и их интерпретации. Родственным чувствам изменить факты не

под силу. Другое дело – интерпретация, тут уж проявляется индивидуализм каждого, как писателя, так и читателя. Я часто задаю себе вопрос: насколько я объективен? Думаю, что не объективен, но и самый отстраненный историк имеет свои пристрастия. Только читателю дано судить, чьи логические построения доказательнее.

Что же касается обращения с фактами, то тут все зависит от человеческого характера. Кто-то не стесняется залезть в чужой карман, другому такое и в голову не придет. Так и с историей: одни, ничтоже сумняшеся, факты подтасовывают, другие относятся к ним с пие-тетом. Я себя отношу к последним.

И вообще, насколько историческая наука способна сохранять объективность? Ответить непросто. История испокон века сожительствовала с мифологией, нередко подменяла и подменяет реальные события фальшивками в угоду правителям. Вот только пара примеров. Тюдоры, завладев в XV веке английской короной, тут же переписали британскую историю, представили предшествовавшую им династию Йорков извергами, а их последнего короля Ричарда III (1453–1485) – кровавым вырождением. Такими они и оставались все последующие столетия. Только недавно англичане с большим трудом начали докапываться до истины.

В России историю подправляли и переписывали неоднократно. В 1560-е годы Иван Грозный в составленной по его приказу «Степенной книге» полностью перекроил прошлое от Киевской до Владимирской Руси под себя, под Московию. Не лучше поступили и Романовы с Рюриковичами. После вступления Михаила на российский престол в 1613 году они не только заново перелопатили историю, но и наложили запрет на доступ к ней «посторонних». История стала не источником знаний, а политическим орудием. Потому-то в России настоящих историков можно по пальцам пересчитать: Карамзин, Соловьев, Ключевский. Вплоть до второй половины XIX века высочайшим распоряжением запрещалось печатать исторические статьи в популярных, доступных людям журналах, дабы не смущать умы народа.

Товарищ Сталин с его «Кратким курсом истории ВКП(б)», по которому училось мое поколение, превзошел Тюдоров с Романовыми, он вообще не оставил камня на камне от исторических реалий и фактов первой половины XX века, лишил прошлого целое поколение.

И в наше время есть любители по своему разумению творить новые мифы. Однако с распространением информационных технологий целенаправленное мифотворчество ожидают не лучшие времена, и я льщу себя надеждой, что недалеко то время, когда история все же обретет в России статус настоящей науки.

Знание истинной истории очень важно, ибо наше будущее произрастает из прошлого. От «качества» нашей истории, от ее адекватности напрямую зависит «качество» нашего будущего. Исторические фигуры, наши отцы и деды, ушли в небытие, им уже безразлично, что о них пишут, как их судят. И мы, их ближайшие потомки, скоро последуем за родителями. Грядущее поколение – вот кто воистину заинтересован в неискаженной истории. Им жить, а как они будут жить, в немалой мере зависит от понимания прошлого. Постоянно переписывая историю, каждое новое поколение россиян, само того не желая, раз за разом обрубают исторические корни дерева собственной жизни и начинает все заново. Но какая жизнь без корней?

Я очень надеюсь, что мои книги кому-то помогут, кого-то уберегут хотя бы от малой толики ошибок.

Подготавливая трилогию к публикации, я старался убрать повторы, не все, так как каждая из трех книг не только часть целого, но и живет своей собственной жизнью. Написанные ранее «Рождение сверхдержавы» и «Пенсионер союзного значения» я дополнил информацией, не доступной мне, когда писались эти книги. С годами архивы все больше открывались, книги дополнялись новым знанием, черпавшиеся ранее только из памяти факты уточнялись. Появилась возможность проверки хронологии. В памяти даты иногда причудливо

перемешиваются, и только обращение к документам позволяет все расставить по годам, месяцам и дням. Описание некоторых событий тоже стало возможным уточнить. В «Пенсионере» некоторые из фактов брежневских времен, к примеру, скандальное увольнение от должности Семичастного, я описал по слухам, тогда кругами расходившимися по Москве. Другие источники информации отсутствовали. Сейчас мы знаем, как все происходило, и я наравне со «старой» версией событий привожу их реальное описание. Любопытно, что разнятся они в основном в деталях. В каждом случае изменений и дополнений я оттеняю в тексте пассажи, которые отсутствовали в предыдущих изданиях. Так читателям легче разобраться в перипетиях моего сочинительства.

Хочу поблагодарить всех, кто помогли мне в написании этой книги. В первую очередь, мою жену Валентину Голенко. Она печатала и перепечатывала нескончаемые страницы текста, отыскивала огрехи и во многом способствовала тому, что книга получилась. Особо отмечу неоценимую поддержку моего сына Никиты Сергеевича Хрущева (младшего), снабжавшего меня материалами и взявшего на себя улаживание дел с московскими издателями. Отдельная благодарность академику Александру Александровичу Фурсенко, к сожалению, уже покойному, за ценные советы и содействие в сборе материалов в процессе написания книги. Большое спасибо моему другу Юре Панову, помогавшему всегда и во всем, особенно в делах компьютерных и поиске информации в безбрежных сетях Интернета. Ничего бы у меня не вышло без неизменной доброжелательности всего коллектива издательства «Время», а особенно Аллы Михайловны Гладковой и Ларисы Владимировны Спиридоновой; последняя тщательно отредактировала текст, убрала огрехи, сделала его таким, каким он предстал перед читателями. Я очень признателен Эмилии Йотке из Института Томаса Уотсона и моей невестке Леночке, которые оцифровали фотографии к книге и существенно их почистили. Благодарю и всех не названных тут моих друзей за поддержку, долготерпение и благорасположение к автору и его труду. Спасибо.

Культура страны определяется тем, насколько она знает свою историю.

Академик П.Л. Капица

Победит строй, обеспечивший людям лучшую жизнь.
Н.С. Хрущев

Пролог

Тринадцатого октября 1964 года, во второй половине дня, турбовинтовой Ил-18 подрулил к правительственному павильону московского аэропорта Внуково-2. Стояло бабье лето, светило и еще пригревало не по-осеннему теплое солнце, легкий ветерок ласково перебирал пордевшие желто-зеленые листочки вплотную подступивших к летному полю березок и осин.

К самолету подкатили трап, в дверях появился отец, первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР Никита Сергеевич Хрущев, за ним следовал Анастас Иванович Микоян, друг и соратник отца, председатель Президиума Верховного Совета СССР, далее потянулись помощники, охранники и среди них я, автор этих строк.

У трапа прибывших встречали всего двое: Владимир Ефимович Семичастный¹, председатель КГБ СССР (активный участник заговора против отца), и секретарь Президиума Верховного Совета СССР Михаил Порфирьевич Георгадзе. Семичастному вменялось без происшествий доставить отца и Микояна в Кремль, там их ожидали остальные члены Президиума ЦК. Сегодня они не теснились, как обычно, у трапа самолета, стремясь первыми позвать отцу руку, первыми доложить об очередных успехах, первыми получить согласие на что-то очень важное, первыми... Теперь они, наконец решившись избавиться от отца, нервно ожидали его в Кремле. Хотя, казалось бы, на вчерашнем заседании Президиума ЦК все предусмотрели до мелочей, распределили роли – кто что будет говорить, но на душе скребли кошки, по телу пробегали мурашки: чем все это обернется, с чем приедет Хрущев? Отправляя Семичастного в аэропорт, трусоватый Брежнев даже посоветовал ему положить в карман заряженный пистолет. Но пистолет не понадобился, отец, пожав Семичастному руку, лишь осведомился: «Где все?» и, получив ответ: «Ожидают вас в Кремле», с улыбкой, как будто ничего не случилось, бросил Микояну: «Поехали, Анастас!»

Захлопнулась дверь длинного черного ЗИЛа-111, машина тронулась. За ней – ЗИЛ охраны и впритык – «Чайка» Семичастного. Он доложил по радиотелефону Брежневу: «Встретил, все идет по плану, едем в Кремль».

Успокаивающее сообщение Семичастного почему-то только добавило волнений. Больше других нервничал Брежнев², ему мерещилась бесславная отставка, а может, и что похуже. Одну за другой он прикуривал сигареты, затягивался, давил их в пепельнице и снова прикуривал.

Спокойнее других держался «вождь комсомольцев» Александр Шелепин³, он уже ощущал себя стоящим во главе государства: Хрущева – свалим, а размазня Брежнев ему не помеха, в стране все схвачено. (Шелепин – один из самых могущественных людей в стране. На запланированном на ноябрь 1964 года Пленуме ЦК КПСС отец предполагал ввести Шелепина в состав Президиума ЦК КПСС. Отец рассматривал Шелепина как еще одного своего возможного преемника, в чем-то отдавал ему предпочтение в сравнении с Брежневым. Смену власти отец предполагал провести на XXIII съезде КПСС в 1965 году.)

Скрупулезно подсчитавшие шансы на успех Михаил Сулов⁴ и Алексей Косыгин⁵ не суетились, спокойно сидели на своих обычных местах у стола заседаний Президиума ЦК, устранение отца – дело решенное, и от этого они только выиграют.

Совсем недавние выдвиженцы отца, секретари, но еще не члены Президиума ЦК Леонид Ильичев⁶, Владимир Поляков⁷, Александр Рудаков⁸, Владимир Титов⁹ лелеяли несбыточную надежду, что отец и на сей раз вывернется, – выходил же он победителем и не из таких передряг, и одновременно прикидывали, на кого ставить: на Ленью или на Шурика, если Хрущев проиграл.

А вот два других «молодых» протеже отца – Юрий Андропов¹⁰ и Петр Демичев¹¹ – не волновались, они сделали выбор, поставили на победителя, заручились поддержкой как Брежнева, так и Шелепина.

Остальные члены Президиума ЦК не сомневались в исходе заговора и изготавились предать анафеме еще вчера «нашего дорогого Никиту Сергеевича». Они уверены, что их усердие оценят, независимо от того, кто (Леня или Шурик) вознесется на вершину пирамиды власти. Так в волнении проползли полчаса ожидания. Наконец двери зала заседаний отворились, первым показался насупленный отец, за ним – понурый Микоян¹². Анастас Иванович Микоян в заговоре против отца не участвовал. Отношения у них с отцом сложились дружеские, они часто спорили по разным вопросам, но держались вместе.

Войдя в зал, отец огляделся, собравшиеся сидели за столом для заседаний, пустовало лишь кресло председателя. Его кресло. Отец в последний раз опустился в него и, помолчав, осведомился, ради какого такого срочного дела его сорвали из отпуска, вызвали из Пицунды?

Повисло напряженное молчание, хотя еще накануне распределили роли, согласовали последовательность выступлений. Начать поручили Брежневу, но у того перехватило горло. Наконец он решился и заговорил неуверенно, сбивчиво, все время сверяясь с лежавшими перед ним листочками, вырванными из большого, так называемого цековского блокнота.

Судилище, изменившее навечно судьбу великой страны, началось. Присутствовали все члены и кандидаты Президиума, секретари ЦК КПСС, за исключением никак не приехавшего в себя после инсульта Фрола Романовича Козлова¹³. Отец, обычно живо реагирующий на выступления, на сей раз сидел молча, сосредоточенно уставясь перед собой на пустой, без привычно загромождавших его справок, проектов постановлений и других приготовленных к заседанию бумаг, стол.

Постепенно смелея, Брежнев начал вываливать одно за другим припасенные заранее обвинения: зачем разделили обкомы на промышленные и сельские? В чем смысл перехода от пятилетнего планирования к восьмилетнему? Почему отец рассылает так много записок членам Президиума? В заключение он обвинил отца в некорректном обращении с товарищами по работе и замолк.

Отец встрепнулся, поднял голову, оглядел присутствующих и как бы через силу произнес: «Я вас всех считал и считаю друзьями-единомышленниками и сожалею, что порой допускал раздражительность». Отец не собирался бороться. Такое решение он принял заранее. О сговоре против него мне в середине сентября сообщил бывший начальник охраны председателя Президиума Верховного Совета Российской Федерации Николай Игнатов¹⁴ Василий Иванович Галюков, и я тут же все пересказал отцу. (В заговоре против отца Игнатов взвалил на себя черновую и наиболее опасную работу, уговаривал секретарей обкомов перейти на сторону заговорщиков, сотрудничал как с Брежневым – Подгорным, так и с Шелепиным – Семичастным, рассчитывая в решительный момент перехватить инициативу и захватить власть.) После моей встречи с Галюковым, а она не осталась незамеченной, Брежнев запаниковал, провал заговора казался ему неминуемым. Но судьба распорядилась иначе.

С первых дней вхождения во власть Игнатов начал интриговать против отца. Отец поначалу не обращал внимания, считал, что все постепенно утрясется, но когда Игнатов стал почти в открытую претендовать на высшую власть в стране, – «принял меры». На очередном XXII съезде КПСС в 1961 году Игнатов ни в состав Президиума, ни в Секретариат не избрали. «Перебросили» на РСФСР.

Теперь Игнатов рассчитывал взять реванш. Все лето он колесил по стране, уговаривал секретарей обкомов, командующих военными округами, что время Хрущева закончилось. Николай Григорьевич многим, если не всем, рисковал. В случае провала Брежнев с Шелепиным сделали бы его козлом отпущения. Игнатов, человек хитрый и изворотливый, все это

понимал, но стремление вернуться на самый верх, в Президиум ЦК, пересиливало осторожность.

С Галюковым по просьбе отца переговорил и Микоян. У отца оставалось время, но он решил пустить события на самотек, шел не 1957 год. Тогда против него выступили сталинисты, а все кандидатуры в обновленный Президиум ЦК он подбирал сам. Отец не сомневался, что они так же, как и он, преданы делу и только делу. Начатые им реформы эти люди доведут до конца, сбудется его мечта – советские люди заживут лучше, богаче американцев. Жаль, конечно, что все это произойдет без него, но ему уже перевалило за семьдесят, пришло время уступить дорогу молодым. Именно поэтому, несмотря на информацию о сговоре, отец решил не менять своих планов и в последний день сентября уехал из Москвы, отправился отдыхать в Пицунду.

Где-то в глубине души отец, несмотря на опыт всей его жизни, надеялся, что сообщение Галюкова не подтвердится. Теперь ему оставалось одно: собраться, не показать слабость, не ввязаться в спор (последнее от отца требовало особых усилий), а там будь что будет!

Отец все-таки не удержался и начал отвечать на обвинения: «За разделение обкомов все проголосовали единодушно, только оно обеспечит более эффективное руководство все усложняющейся экономикой. В записках делился с товарищами своими мыслями о реформировании страны, ведь дела идут неблестяще, что-то надо предпринимать».

Тут отец осекся, изменил тон, признал некорректность общения с членами Президиума, заверил, что, насколько хватит его сил... и, не договорив, замолк. Согласно сценарию, следующим выступал первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Ефимович Шелест¹⁵, в заговоре он принимал активнейшее участие, но его держали на вторых ролях.

Впоследствии в своих воспоминаниях Шелест с большим сочувствием напишет об отце, но в тот октябрьский день он – «ястреб», обвинения отцу сыплет как из рога изобилия: «В 1957 году обещали догнать США по производству мяса, молока и масла на душу населения и не догнали. Говорили о решении жилищной проблемы и не решили. Обещали в 1962 году повысить зарплату малоимущим и не повысили. Из прав и ответственности республик оставили им только ответственность».

Слова оратора звучали убийственно. Отец внимательно слушал Шелеста, размышлял: «Все правильно, за исключением республик, прав у них сейчас поболее, чем раньше, здесь Шелест передернул. Вот только почему у нас во всем виноват один человек? Правда, одному ему приписывали и все победы. Так повелось исстари. За все отвечал царь-батюшка, после 1917 года царя не стало, но мышление не изменилось. И останется неизменным еще на многие десятилетия».

Особое недовольство Шелеста (как и всех остальных выступавших) вызвало разделение обкомов на сельские и промышленные и предполагавшаяся в разосланной в июле 1964 года записке реорганизация – профессионализация и одновременно «департизация» сельскохозяйственных производственных управлений. Эта тема кочевала из выступления в выступление. Наиболее четко изложил общее мнение Дмитрий Степанович Полянский¹⁶, заместитель председателя Совмина СССР. Полянский в заговоре балансировал между Брежневым – Подгорным и Семичастным – Шелепиным, одновременно претендуя на особую роль в будущем, послехрущевском, руководстве. Ставил себя выше как Брежнева, так и Шелепина. Мы точно знаем его позицию. Полянский, в отличие от других участников октябрьского заседания, собирався выступать не только на Президиуме, но и на Пленуме ЦК, и все оформил согласно правилам: отпечатал текст и отослал его Брежневу на апробацию. Однако на Пленуме ему слова не дали и из секретариата Брежнева записку Полянского вернули автору, который и передал ее в архив.

«Главная цель этой реорганизации в том, чтобы свести к нулю роль парткомов производственных (сельскохозяйственных) управлений, превратить их в придаток хозяйственных

органов, – пишет Полянский. – Как же иначе понять его (Хрущева. – С.Х.) слова, которые он недавно сказал на Президиуме ЦК: “Что хорошо, так это то, что парткомы теперь на заднем плане, а мне при поездке (в августе 1964 года по сельскохозяйственным районам страны) выставляли начальников производственных управлений. Это очень хорошо. Значит, сделали вывод из моей записки (от 18 июля 1964 года)”. В этой поездке, – продолжает Полянский, – он не нашел времени для беседы хотя бы с одним из секретарей партийных организаций колхозов, совхозов и парткомов Производственных колхозно-совхозных управлений. Но разве пристало, товарищи... радоваться тому, что парткомы на заднем плане? Он (Хрущев. – С.Х.) даже предлагал ликвидировать производственные парткомы, иметь вместо них начальников политотделов в ранге заместителя начальника колхозно-совхозного управления. А недавно сказал, что, может быть, целесообразно вообще ликвидировать производственные управления. Но это значит, что надо ликвидировать и партийные органы на селе. Вот до чего договорились!»¹⁷

В чем тут дело? Ниже, в соответствующих разделах книги, я подробно опишу коллизии, связанные с реформированием управления сельским хозяйством. Сейчас же поясню вкратце: в 1962 году производственные управления пришли на смену сельским райкомам партии. По замыслу отца, они, как и разделенные по производственному признаку сельские и промышленные обкомы, должны были заменить «общее» руководство колхозами и совхозами, заводами и фабриками профессиональным менеджментом. Им вменялось не столько выколачивать план, сколько советовать, следить за внедрением в производство новейших технологий и агроприемов. Другими словами, отец вознамерился низвести роль партийного руководителя до уровня консультирования. Реорганизацию начали, но отношения, особенно на селе, не изменились. Теперь отец готовился к следующему шагу – передаче полноты власти директорам. Колхозам и совхозам он намеревался предоставить самостоятельность несравненно большую, чем дала реформа 1953 года: пусть сами решают, сколько сеять и как сеять, сколько и кому из своих работников платить, лишь бы вносили исправно оброк государству. Для проверки своего замысла он еще за два года до этого затеял эксперимент на целине. Тамошний экономист-бухгалтер Иван Худенко получил в свое распоряжение три совхоза и полную свободу. Худенко умело ею пользовался: урожаи в его совхозах возросли, зарплата увеличилась, количество работников сократилось. В эксперименте участвовали не только три совхоза Худенко, но и более сорока промышленных предприятий – от швейной фабрики «Большевичка» до крупных химических производств. И тоже очень успешно.

К исходу 1964 года отец уже не сомневался, что пора переходить от эксперимента к повсеместному внедрению новых взаимоотношений производителя и государства. Он понимал, что натолкнется на нешуточное сопротивление и в районах, и в областях, и здесь, в Москве. Всем придется приспособливаться, в том числе и ему самому. Совсем недавно, по возвращении из поездки по целине, он зацепился с Полянским из-за чепухи: какую следует платить заработную плату чабанам. Дело дошло до откровенной перепалки. В новых же условиях и ему, и Полянскому, и секретарю обкома, и Производственному управлению вмешиваться в такие дела будет заказано, сами совхозники решат, кому сколько платить, сами и заплатят. Что и говорить, ломка предстояла потруднее совнархозной. Но иначе коммунизм не построить. Прошедшие годы показали, что по-старому работать не получается, да и Ленин завещал, что людям следует доверять, надо не стоять у них над душой, не погонять, а советовать.

При таком раскладе производственные управления, как и райкомы партии, становились излишними, только путались под ногами. Отец предлагал подумать, не следует ли их укрупнить, а в небольших областях и вовсе упразднить. Об этом, и пока ни о чем большем, он советовался в сентябре со своими коллегами. В отличие от отца, его соратников существующая система взаимоотношений в экономике вполне устраивала, разве что следовало

укрепить властную вертикаль, восстановить министерства, да и обкомам придать больше веса. Что же до отца, то он, по их мнению, окончательно утратил «чувство реальности». С ним пора кончать.

Однако вернусь к событиям, происходившим на заседании Президиума ЦК. За Шелестом слово взял Геннадий Иванович Воронов¹⁸, председатель Совмина РСФСР. С Вороновым отец познакомился в Чите осенью 1954 года, когда, возвращаясь из поездки в Пекин, он по пути останавливался во всех крупных городах дотоле неведомой ему Сибири. Воронов понравился отцу обстоятельностью, деловой хваткой. С отцом всегда держался ровно, свое мнение отстаивал до конца, не лебезил, от хвалебных речей воздерживался.

В августе 1964 года, пока Хрущев инспектировал уборку урожая на целине, на охоте в Завидово Брежнев уговаривал его целую ночь, демонстрировал списки членов ЦК, с «галочками» рядом с фамилиями уже склонившихся на его сторону. В конце концов Воронов согласился.

Воронов, как и все выступавшие до него, сетовал на отсутствие коллективного руководства, обижался, что за последние три с половиной года не смог ни разу высказать отцу своего мнения. (Не знаю, как в рабочее время, но по выходным, в охотничий сезон, и летний и зимний, Геннадий Иванович неизменно наезжал в Завидово, и говорили они там с отцом обо всем.) Обвинил Воронов отца и в возникновении культа его личности. Речи, фотографии отца заполняли первые, и не только первые, страницы газет и журналов. С другой стороны, отец постоянно разъезжал по стране, выступал на совещаниях колхозников, химиков, еще кого-то. Его выступления, как водится в таких случаях, помещались на первых страницах газет. Трудно понять, откуда бралась у него энергия, ведь отцу в 1964 году исполнилось семьдесят лет. Дела последние пару лет шли неблестяще, и все мысли отца крутились вокруг того, как выправить положение, он предлагал то одно новшество, то другое. Все его предложения встречались на ура, в первую очередь «соратниками» по Президиуму ЦК. Отец воспринимал все эти словоизвержения коллег как одобрение своих мыслей и предложений. И вот сейчас «единомышленники» позволили себе сказать то, что они думали на самом деле. Далее Воронов припомнил отсутствовавшему на заседании Козлову¹⁹, как тот в свое время поучал его: «Не лезть в дела, которые ведет Хрущев». Затем Воронов пожаловался, что отец как-то назвал его «гибридом инженера с агрономом», что, по моему мнению, совсем не обидно: политический лидер в стране с государственной централизованной экономикой по своей сути не столько политик, сколько менеджер, а любой менеджер обязан разбираться во всем, с чем ему приходится сталкиваться, быть гибридом всего со всем.

Дальше шли стандартные сетования на реорганизации, как они всем надоели, на «покушение» отца на производственные сельскохозяйственные управления. Воронов в сердцах даже воскликнул: «Разве можно принижать райкомы?» Не нравилась Воронову и последняя записка отца, направленная коллегам по Президиуму. «В ваших рекомендациях не знаешь, что правильно!» – выкрикнул Воронов и явно перегнул палку.

По-моему, отец выражал свои мысли ясно, естественно для тех, кто желал его слушать. В подтверждение процитирую малую толику из стенограммы выступления отца на одном из последних заседаний, посвященном пятилетке 1966–1970 годов: «Надо смелее идти на развитие производства средств потребления. Надо провести анализ производства в зарубежных странах и у нас. Ни одна страна в мире не имеет такого технического уровня, как мы. Наши ученые еще семь лет будут догонять сегодняшний уровень Запада, а тот за это время уйдет еще дальше! Надо покупать лицензии – это единственный выход, нельзя жить в науке в условиях автаркии, игнорировать достижения заграницы. Надо ориентироваться на покупку технологий, заводов под ключ, тогда через два года получим новое качество, выйдем на новый уровень... Смотрите, японцы поднялись из руин, из первобытного состояния и сейчас бьют

Америку, весь мир, и только через первоначальную покупку лицензий, а затем уже, отталкиваясь от мирового уровня, развивают свое производство»²⁰.

Конкретно на этом заседании Воронов не присутствовал, но отец, скорее всего, повторил свои аргументы и 26 сентября на заседании Президиума ЦК и Совета Министров СССР, стенограмма которого пока не найдена.

Отец тогда говорил еще о многом, в частности предложил подумать, не лучше ли перейти в планировании на семи- или восьмилетки, они более соответствуют циклу ввода в действие новых производств, от закладки первого камня до выпуска головной партии готового продукта. Не знаю, что тут Воронову не понравилось? Что он не понял?

«Отпустить на пенсию», – завершил свое выступление Воронов. Следующим выступил Александр Николаевич Шелепин, протеже отца, молодой и амбициозный, «железный Шурик», как его называли близкие. Когда заболел Козлов, отец серьезно подумывал о выдвижении Шелепина на вторые роли, помешал этому отказ Александра Николаевича (несколько лет тому назад) разменять секретарство в ЦК на руководство Ленинградским обкомом. Отец засомневался: сможет ли Шелепин справиться со страной без опыта практической работы. И правильно засомневался. Впоследствии «железный Шурик» проявил себя не только замшелым бюрократом, что позволило Брежневу без труда убрать его со своего пути, но и матерым ортодоксом-сталинистом.

Пока же Шелепин налево и направо рассыпал обвинения, но в отличие от Воронова, не конкретные. Он демагогически валил все в одну кучу: тут и «нетерпимая» обстановка в руководстве, и «сомнительные» люди в окружении отца, и культ личности, и падение годового роста национального дохода, и пристрастие отца к системам автоматического доения коров взамен ручного, и «отрыв» науки от производства. Особенно возмущало Шелепина намерение отца разобраться, что произошло в стране в период коллективизации. Отец собирался высказаться о ней на предстоящем ноябрьском Пленуме ЦК, и совсем не так, как предписывалось тогдашними идеологическими установками.

– Материал по периоду коллективизации собирал! – Шелепин едва не сорвался на крик. – Сказал, что Октябрьскую революцию бабы совершили! – Разделение обкомов, профессионализацию управления экономикой Шелепин назвал не просто ошибкой, а теоретической ошибкой.

Не нравилась Шелепину и внешняя политика отца: «С империалистами мы должны быть строже, – поучал он, – лозунг: “Если СССР и США договорятся – все будет в порядке” – неправилен. Позиция в отношении Китая – правильная, но проводить линию надо гибче». Много, очень много претензий выложил перед отцом Шелепин. Записанные уборым почерком тезисы выступления Шелепина заняли почти две полные страницы. Наконец он иссяк, замолчал и сел, не сказав ничего о будущей судьбе отца. Шелепин уже попросту списал его со счетов. Затем один за другим брали слово Андрей Павлович Кириленко²¹, фактический руководитель Бюро ЦК по РСФСР (в заговоре он твердо держался Брежнева – Подгорного, но в силу своего характера и привычки оставался в тени); Кирилл Трофимович Мазуров²², секретарь ЦК Компартии Белоруссии; Леонид Николаевич Ефремов²³, первый заместитель Бюро ЦК по РСФСР в области сельского хозяйства; Василий Павлович Мжаванадзе²⁴, секретарь ЦК Компартии Грузии. Их обвинительные речи походили друг на друга, как близнецы: ликвидация райкомов, принижение роли партии и главное – довольно реформ.

Вслед за Мжаванадзе поднялся главный идеолог партии, секретарь ЦК КПСС Михаил Андреевич Суслов. Он не говорил о реорганизациях и даже о ликвидации сельских райкомов, его волновало другое, хотя «генеральная линия правильная... люди стали чаще вести разговоры, а это опасно, надо ввести в партийное русло», дальше Суслов повторил стандартный набор обвинений и заключил свое выступление словами: «Талантлив, но тороплив,

много шума в печати, во внешней политике – апломб, в беседе с японскими специалистами наговорил много лишнего. (15 сентября 1964 года отец встречался с японской делегацией, говорили о перспективах торговли и бесперспективности передачи Японии островов Шикотан и Хабомаи, пока та состоит в военном союзе с США. Что тут лишнего, не знаю.) Поднять роль Президиума и Пленума ЦК». О судьбе отца Суслов напрямую ничего не сказал, поосторожничал.

Председатель ВЦСПС Виктор Васильевич Гришин²⁵ постарался подсластить пилюлю. Он работал с отцом еще со времени его возвращения в Москву в 1949 году. Гришина мучила совесть, но и пойти против остальных он не посмел. В заговоре против отца примыкал к группировке Брежнева – Подгорного, по его прикидкам более перспективной, чем шелепинская.

– Среди сидящих здесь у вас есть настоящие друзья, – начал Гришин. Брежнев встрепнулся, и докладчик тут же «выправился»: – И мы должны сказать прямо, так, как ведется дело, дальше продолжаться не может. (Брежнев облегченно вздохнул.) – Он стремился к лучшему и многое сделал, но товарищи правильно говорили, все успехи как будто исходят от Хрущева.

Вначале Гришин не решил, как величать отца, по фамилии или имени и отчеству, но наконец выстроил дистанцию и назвал по фамилии.

– Есть личные отрицательные качества, – записывал Малин, – нежелание считаться с коллективом, диктаторство. Нет коллективного руководства... Интереса к профсоюзам не проявлял...

После выступления Гришина решили прерваться до завтра, время уже позднее, а по такому вопросу обязаны высказаться все.

По возвращении домой отец долго гулял один по узкой асфальтированной дорожке, проложенной вдоль высокого забора, окружавшего правительственную резиденцию по Воробьевскому шоссе, 40. Чем-то эта «прогулка» напоминала кружение волка по периметру клетки в зоопарке, круг за кругом, круг за кругом. Вернувшись наконец в дом, отец поднял трубку «кремлевки» и набрал номер резиденции Микояна. Он жил неподалеку, через два дома.

– Анастас, скажи им, что я бороться не стану, пусть поступают, как знают, я подчинюсь любому решению, – произнес отец одним духом, потом помолчал немного и закончил: – С теми, со сталинистами (отец имел в виду Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова), мы разошлись по принципиальным позициям, а эти... – отец не нашел подходящего слова.

– Ты правильно поступаешь, Никита, – неуверенно-осторожно, подбирая слова, начал Анастас Иванович. Оба они не сомневались: Семичастный их сейчас слушает в оба уха. – Но я думаю, ты еще поработаешь, отыщется какой-то компромисс. Ведь столько вместе...

Отец не стал дальше слушать и положил трубку. Через несколько минут Семичастный позвонил Брежневу и доложил о решении отца сдаться без боя. На следующий день, 14 октября, первым выпало говорить заместителю председателя Совета Министров СССР Дмитрию Степановичу Полянскому. Я уже упоминал его. Шустрого, 32-летнего крымского агронома-организатора, секретаря Крымского обкома отец заметил еще в конце сороковых и с тех пор направлял его карьеру. Сегодня Полянский с отцом не церемонился, в отличие от Гришина о старой дружбе не вспоминал.

«Линия съездов правильная, – читаем мы в записи Малина, – другое дело осуществление ее товарищем Хрущевым. Наше заседание – историческое... Другим Хрущев стал, в последнее время захотел возвыситься над партией. Сталина поносит до неприличия. В сельском хозяйстве в первые годы шло хорошо, затем застой и разочарование... 78 миллиардов рублей не хватило (в Совмине Полянский – заместитель отца – курировал сельское

хозяйство, и поиск этих недостающих 78 миллиардов рублей относился к его компетенции), руководство через записки. Лысенко – Аракчеев в науке. О ценах – глупость высказывали. Вы десять академиков Тимирязевки не принимаете два года, а капиталистов с ходу принимаете...»

Особенно досталось от бывшего крымского агронома ни в чем не повинной гидропонике, недавно пришедшему с Запада и активно пропагандируемому отцом способу выращивания тепличных овощей не в деревянных, сбитых ржавыми гвоздями ящиках с землей, а в пластиковых лотках на гравии, пропитанном насыщенными удобрениями растворами. Расчеты показывали, что новая технология экономичнее, с ее помощью наконец-то удастся наладить круглогодичную поставку свежих овощей и зелени к столу горожан.

– Он и этим намеревался заставить нас заниматься! – искренне возмущался Полянский.

Конечно, гидропоника сама по себе мало интересовала оратора, но отныне все, что шло от отца, предавалось анафеме.

– Тяжелый вы человек, уйти вам со всех постов в отставку, вы же не сдадитесь просто, – Полянский не знал о подслушанном Семичастным разговоре отца с Микояном.

Не успел Полянский закончить, как вмешался Шелепин: «Товарищ Микоян ведет себя неправильно, послушайте, что он говорит!»

Анастас Иванович справедливо заслужил репутацию крайне извортливого политика и при этом ухитрялся всегда сохранять собственное суждение и при Сталине, и при Хрущеве. И сейчас он считал, что «критика отцу пойдет на пользу, следует разделить посты главы партии и правительства, на последний – назначить Косыгина, Хрущева следует разгрузить, и он должен оставаться у руководства партией». Микоян не мог не понимать, что он не просто в меньшинстве, а в одиночестве, что этого выступления ему не простят, но решил на старости лет не кривить душой. Микояну и не простили, в следующем году, по достижении семидесятилетия, его отправят в отставку.

За Микояном выступил секретарь ЦК Компартии Узбекистана Шараф Рашидов²⁶.

Рашидов почти слово в слово повторил предыдущих ораторов. Зла он на отца не держал, привычно следовал заведенному издавна и не им порядку. Следом за Рашидовым слово взял первый заместитель председателя Совета Министров Алексей Николаевич Косыгин. Он выразил свое «удовлетворение ходом обсуждения. Линию они проводят правильную. Обстановка в ЦК и его Президиуме характеризуется единством. Пленум несомненно поддерживает их во всем».

– Письма льстивые рассылаете, а критические – нет, – попенял Косыгин отцу.

Его слова расходятся со свидетельством Семичастного: отец, по его словам, требовал приносить и зачитывать ему самые злые анонимки, в том числе и те, где «Никиту» матом ругали²⁷.

Не будем судить Косыгина слишком строго, о заговоре его известили в последнюю минуту, и он, правая и доверенная рука отца, перестраивался на ходу.

– Кадры, – вы не радуетесь росту людей, – продолжал Алексей Николаевич, сам не очень понимая, что говорит (или очень хорошо понимая? Косыгин не мог не знать о планах отца обновить «кадры» на предстоящем Пленуме, двинуть вперед молодых). – Доклад т. Суслова (об идеологии) сначала хвалил, потом хаял, – продолжал набирать очки Косыгин, Брежнев одобрительно кивал головой. – Пленумы – все сам делает. Военные вопросы монополизировал. Отношение к братским социалистическим странам характеризуется словами: «Был бы хлеб – мешки найдутся!»

Косыгин говорил еще долго. Так долго, что Брежнев многозначительно постучал по циферблату часов у себя на запястье.

– Созвать Пленум, – заторопился Косыгин. – Разделить посты главы партии и главы правительства (он уже знал, что последний предназначается ему), ввести официальный пост

второго секретаря ЦК КПСС. (Он предназначался Николаю Подгорному.) Вас (то есть отца) освободить от всех постов.

После Косыгина пришла очередь говорить Николаю Викторовичу Подгорному²⁷, секретарю ЦК. Николай Викторович Подгорный – один из инициаторов заговора против отца. В тандеме с Брежневым играл роль ведущего, пропустил Леонида Ильича вперед только в силу более высокого положения в сложившейся партийно-государственной иерархии. Отношение к отцу было подбострастное, я бы сказал, грубовато-подхалимское. Последние месяцы Подгорный «висел на волоске», отец считал его приглашение в Москву и возвышение своей ошибкой, Подгорный показал себя никудышным администратором, человеком туповатым, но с непомерными амбициями. Отец в Подгорном разочаровался и подумывал, как бы от него без скандала избавиться. Предстоящий ноябрьский Пленум наверняка завершил бы его карьеру. Подгорный, мастер интриги, это чувствовал, что и толкнуло его к превентивным действиям. Не будучи уверенным в своих возможностях в Москве, он вовлек в заговор Брежнева. Говорил Подгорный зло, безапелляционно, не стеснясь в выражениях. Приведу только некоторые из его пассажей: «Согласен с выступлениями всех, кроме Микояна. Колоссальные ошибки в реорганизации. Ссылки на Сталина – ни к чему, сам все хуже делает. О разделении обкомов – глупость. Во взаимоотношениях с социалистическими странами разброд, и по вашей вине. С Хрущевым невозможно разговаривать. Разделить посты. Решить на Пленуме. Как отразится отставка Хрущева на международном и внутреннем положении? Отразится, но ничего не случится».

В этот момент дверь зала заседаний Президиума ЦК приоткрылась, в нее просунулась голова секретаря Брежнева, затем он, почему-то на цыпочках, подбежал к Брежневу и зашептал ему в ухо. Брежнев показал рукой Подгорному: достаточно, садись. Николай Викторович недовольно опустил на стул – не успели еще от одного избавиться, а уже другой ручкой помахивает.

Секретарь Брежнева так бесцеремонно нарушил правила (во время заседания Президиума ЦК в зал разрешалось входить только по вызову), потому что ему уже в который раз звонил Семичастный и умолял, требовал вытащить Брежнева к телефону. Леонид Ильич объявил перерыв на несколько минут и вышел из зала заседаний.

– Что случилось? – нервно схватив телефонную трубку, спросил Брежнев. Ответ Семичастного сводился к следующему: ему поручили собрать членов ЦК, не всех, а только тех, с кем о смене власти в Кремле заранее условились или на кого заговорщики, по их мнению, могли рассчитывать. Со вчерашнего дня все эти люди слонялись по кремлевским коридорам, обменивались слухами, гадали, что же происходит там, в Президиуме ЦК, и донимали Семичастного вопросами, когда же их наконец соберут в Свердловском зале и обо всем оповестят. К полудню 14 октября многие начали роптать, а особо строптивые грозить, что начнут заседание Пленума ЦК сами, без Президиума. В конце концов, по Уставу именно Пленум выбирает Президиум, а не наоборот. Произносились такие слова как бы в шутку, с ухмылкой, но они не на шутку испугали Семичастного. Во времена перемен любая шутка, да еще такая, опасна. Сегодня заговорщики на самом верху интригуют против Хрущева, так почему членам ЦК не поступить так же, не взять власть в свои руки, не ограничиться смещением отца, а переизбрать Президиум целиком? Вот Семичастный и решил поторопить Леонида Ильича. Он то ли попросил, то ли потребовал закругляться и, пока не поздно, перенести действие на заседание Пленума, его нужно провести сегодня же, завершить «операцию» до вечера.

– Вторую ночь я не выдержу, – заявил Семичастный Брежневу.

– Еще не все выступили, а надо, чтобы все до одного прилюдно повязали себя, – настаивал Брежнев.

Леонид Ильич не решался сказать ни да, ни нет. Внутренне он страшился Пленума, но, когда Семичастный пригрозил, что в случае промедления он снимает с себя ответственность и более ни за что не ручается, Брежнев сдался. Попросил чуть повременить, ему надо посоветоваться со «своими».

– Через тридцать минут он мне перезвонил, – в 1988 году рассказывал Семичастный главному редактору еженедельника «Аргументы и факты» В.А. Старкову, – попросил всех успокоить, все идет по плану. Члены Президиума ЦК выступили – остались кое-кто из кандидатов и секретарей ЦК, им дадим по три-четыре минуты, чтобы они, не рассусоливая, определились, а в шесть часов вечера – Пленум.

– Меня это устраивает, – ответил Брежневу Семичастный. – Могу я объявить?

– Давай, объявляй! Мы своим службам уже скомандовали, распорядись и ты по своей линии, – закончил разговор Брежнев и положил трубку²⁹.

В своей книге В.Е. Семичастный описывает этот эпизод весьма скупое, он старается дистанцироваться от событий, свести свою роль к чисто служебной. Такую линию поведения в начале 1990-х годов они выбрали вместе с Шелепиным и придерживались ее до конца жизни. Их признания в ранних интервью более содержательны.

Вернувшись в зал заседаний Президиума, Леонид Ильич сам взял слово и поспешил подвести черту под обсуждением: «Согласен со всеми. Прошел с вами путь с 1938 года, с вами боролся с антипартийной группой в 1957 году, но не могу вступать в сделку со своей совестью. Освободить Хрущева от занимаемых постов (первого секретаря ЦК КПСС и председателя правительства), разделить посты. Тех, кому не удалось выступить, ограничили не тремя минутами, а буквально двумя словами:

Андропов – «предложение поддерживаю».

Пономарев – «поддерживаю».

Ильичев – «согласен».

Демичев – «согласен».

Рудаков – «согласен».

Поднял Брежнев и Микоян, вторично, но он и на сей раз ответил по-своему:

– Говорил, что думал, с большинством согласен. Хрущев сказал мне, что за посты бороться не намерен.

Далее Микоян коротко рассказал о ночном звонке отца. Брежнев на его слова не отреагировал, а остальные вздохнули с облегчением. Они опасались, как бы отец не попытался изменить ситуацию в свою пользу на Пленуме. И, чем черт не шутит, с его энергией...

Последним высказался Шверник³⁰:

– Никита Сергеевич неправильно повел себя. Лишить постов.

Отец все это время сидел понурившись. Теперь пришла его пора говорить. Говорить в последний раз.

– С вами бороться не могу, – начал отец, голос его звучал глухо. – Вместе мы одолели антипартийную группу, мы – единомышленники. – Отец замолчал, подыскивая нужные слова. – Вашу честность ценю, – заговорил он снова. – В разные периоды времени я по-разному относился к здесь присутствующим, но всегда ценил вас. У товарища Полянского и у товарища Воронова за грубость прошу прощения. Не со зла это. Главная моя ошибка, что в 1958 году я пошел на поводу у вас и согласился совместить посты первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета Министров СССР, слабость проявил, не оказал сопротивления. Грубость по адресу Сахарова признаю, Келдыша – тоже. Зерно и кукуруза, Производственные управления, разделение или не разделение обкомов. Придется вам теперь всем этим заниматься.

Дальше отец говорил о своей позиции в международных вопросах: о Кубинском кризисе, о Берлине, о социалистическом лагере и закончил словами: «Все надо делать, чтобы

трещины между нашими странами не возникло. Не прошу у вас милости, вопрос решен. Я еще вчера сказал (по телефону Микояну), что бороться не буду, ведь мы единомышленники. Зачем мне выискивать черные краски и мазать ими вас? – Отец снова замолчал, обида взяла верх, потом продолжил: – Правда, вы вот собрались вместе и мажете меня говном, а я и возразить не могу, – но он тут же спохватился и заговорил другим тоном, я бы сказал, приподнято: – Несмотря на все происходящее, я радуюсь: наконец-то партия настолько выросла, что стала способна контролировать любого своего члена, какое бы высокое положение он ни занимал. (Эти слова отец повторил и мне, когда заехал домой между заседанием Президиума и Пленумом ЦК, где предстояло его формальное отрешение от власти.) Я чувствовал последние годы, что не справлюсь со всем ворохом дел, – произнес отец в заключение, – но жизнь штука цепкая, все казалось, еще годик, еще один, да и зазнался я, признаю. Обращаюсь к вам с просьбой об освобождении со всех постов, сами напишите заявление, я подпишу. Дальнейшую мою судьбу вам решать, как скажете, так я и поступлю, где скажете, там и стану жить. – Отец обвел всех присутствующих глазами, тяжело вздохнул: – За совместную работу спасибо, спасибо и за критику, хотя и запоздалую».

Он сел на стул, тут же, как по мановению волшебной палочки, перед ним легло аккуратно отпечатанное заявление об отставке: «...в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья». Отец внимательно прочитал короткий, всего в несколько строк текст, горько усмехнулся и вынул из кармана паркеровскую ручку. Сколько ею подписано документов, изменивших лик страны, международных соглашений, и вот последняя подпись. Отец снял колпачок, зачем-то внимательно оглядел чуть высывавшийся наружу кончик золотого пера и расписался. В последнюю минуту рука предательски дрогнула, подпись получилась неуверенной, в чем-то стариковской.

Теперь оставалось последнее испытание – Пленум ЦК. Перед заседанием Пленума победители решили пообедать, как обычно, здесь же, в Кремле. Отец завел эту привычку собираться вместе на обед в Кремле – и время экономилось, и представлялась дополнительная, неформальная возможность обменяться мнениями. На сей раз отец в столовую не пошел, не о чем им теперь разговаривать. Поехал домой, на Ленинские (ныне Воробьевы) горы.

Я ожидал его в резиденции на Ленинских горах, томился предчувствием неминуемого. Около двух часов дня позвонил дежурный по приемной отца в Кремле и передал, что Никита Сергеевич выехал. Я встретил машину у ворот. Отец сунул мне в руки свой черный портфель и не сказал, а выдохнул: «Все... В отставке...» Немного помолчав, добавил: «Не стал с ними обедать».

Начинался новый этап жизни. Что будет впереди – не знал никто. Ясно было одно – от нас ничего не зависит, остается только ждать.

– Я сам написал заявление с просьбой освободить меня по состоянию здоровья. Теперь остается оформить решение Пленума. Сказал, что подчиняюсь дисциплине и выполняю все решения, которые примет Центральный комитет. Еще сказал, что жить буду, где мне укажут: в Москве или в другом месте, – предварил отец мои вопросы.

После обеда отец вышел погулять. Все было необычно и непривычно в этот день – эта прогулка в рабочее время и цель ее, вернее, бесцельность. Раньше отец гулял час вечером после работы, чтобы сбросить с себя усталость, накопившуюся за день, и, немного отдохнув, приняться за последнюю почту. Час этот был строго отмерен, ни больше, ни меньше. В тот день бумаги – материалы к очередному заседанию Президиума ЦК, перевод доктрины министра обороны Роберта Макнамары, сводки ТАСС – остались в портфеле. Там им было суждено пролежать нераскрытыми и забытыми до самой смерти отца. Он больше никогда не заглядывал в свой портфель.

Мы шли молча. Рядом лениво трусил Арбат, немецкая овчарка, собака Лены – моей сестры. Раньше он относился к отцу равнодушно, не выказывал к нему особого внимания. Подойдет, бывало, вильнет хвостом и идет по своим делам. Сегодня же не отходил ни на шаг. С этого дня Арбат постоянно следовал за отцом.

– А кого назначили? – не выдержал я молчания.

– Первым секретарем будет Брежнев, а Косыгин – председателем Совмина. Косыгин – достойная кандидатура (привычка отца оценивать людей, примеряя их к тому или иному посту, по-прежнему брала свое), еще когда освобождали Булганина, я предлагал его на эту должность. Он хорошо знает народное хозяйство и справится с работой. Насчет Брежнева сказать труднее – характер у него пластилиновый, слишком он поддается чужому влиянию... Не знаю, хватит ли у него воли проводить правильную линию. Ну, меня это уже не касается, я теперь пенсионер, мое дело – сторона.

Больше мы к теме власти не возвращались ни в тот день, ни в последующие годы. Как отец после прогулки уезжал на заседание Пленума ЦК, как вернулся оттуда, у меня в памяти не отложилось.

Тем временем во время обеда в Кремле Брежнев еще не определился окончательно, как проводить Пленум. Подготовились два докладчика: Полянский и Суслов. Полянский рвался в бой, жаждал крови. Но Брежнев опасался, что изложенные в тексте его доклада обвинения можно отнести не к одному Хрущеву, а самого Полянского может «занести» и потом никто уже с Пленумом не совладает. Да и Семичастный перед обедом еще подлил масла в огонь.

– Вы дозаседаетесь, что или вас посадят, или Хрущева, – страшил Семичастный Брежнева. – Я за день наслушался и тех и других. Одни переживают, хотят Хрущева спасти, другие призывают вас спасти. Третьи спрашивают, что же ты в ЦК сидишь, бездействуешь?³¹

Брежнев решил: с докладом на Пленуме предоставить слово Суслову, он набил руку на подобных делах – выступал по делу антипартийной группы Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова, разоблачал маршала Жукова. Сухой, немногословный Суслов совладает с нынешней ситуацией, не даст разгуляться страстям. Члены Президиума не возражали. От прений предпочли вообще отказаться. Это явилось полной неожиданностью для членов ЦК, такого еще не случалось, ритуал требовал единодушного осуждения уже фактически осужденного.

«Я тоже не знал, что прений не будет... – вспоминал в 1988 году Семичастный. – Я думаю, они не без царя в голове это сделали. Не знали, куда покатится, как бы не задело и их. Там мог быть разговор... Я думаю, эти старики продумали все и, боясь за свои... кости, все сделали, чтобы не открывать прения на Пленуме. В Свердловском зале такая кутерьма началась. Я сидел, наблюдал. Самые рьяные подхалимы кричали: “Исключить из партии! Отдать под суд!” Те, кто поспокойнее, сидели молча. Так что разговора серьезного, критического, аналитического, такого, чтобы почувствовать власть ЦК, не было. Все за ЦК решил Президиум и решенное, готовое, жеваное-пережеванное выбросил: “Голосуйте!”»

Об отсутствии прений на Пленуме говорит другой участник заседания, тогдашний секретарь МГК, «шелепинец», Николай Григорьевич Егорычев: «Теперь, по прошествии стольких лет, ясно и то, что Брежнев не зря был против выступлений на Пленуме. Во время прений под горячую руку могло быть высказано много такого, что потом связало бы ему руки. А у Леонида Ильича в голове, очевидно, уже тогда были другие планы»³².

Отец выслушал доклад Суслова, не поднимая головы. Не поднял он ее и во время голосования. Когда объявили краткий перерыв, он вышел из зала и больше в него не вернулся, сел в машину и уехал домой. Брежнева и Косыгина назначили уже в его отсутствие. Собственно, и перерыв объявили с единственной целью, – удалить отца из зала заседаний Пленума.

Хочу отметить еще такой эпизод. Как рассказывала впоследствии секретарь ЦК Компартии Украины, сторонница отца Ольга Ильинична Иващенко, в начале октября она узнала

о готовящихся событиях и попыталась по телефону правительственной связи «ВЧ» дозвониться Никите Сергеевичу. Соединиться ей не удалось. Хрущева надежно блокировали. На Пленум ее не допустили, как и другого прохрущевского члена ЦК, первого заместителя председателя КПК при ЦК КПСС Зиновия Тимофеевича Сердюка. Вскоре их обоих освободили от занимаемых постов, вывели из ЦК и отправили на пенсию.

В народе отставку отца восприняли с облегчением, большинство людей на улицах откровенно радовались, надеялись, что с уходом неугомонного Хрущева все устаканится, жизнь станет лучше. Функционеры всех уровней праздновали победу: с новациями покончено, их перестанут дергать, пересаживать с места на место, требовать поднимать целину, строить панельные пятиэтажки, развивать химию, сажать кукурузу, наконец-то наступит стабильность.

Они оказались правы: с уходом отца период реформ завершился, страна вступила в эпоху спячки, застоя. А темпы роста в промышленности и сельском хозяйстве тем временем из года в год замедлялись, недвусмысленно сигнализируя: требуются перемены, без них наступит крах. Но в России на подобные сигналы редко обращают внимания, надеются на авось. Понадеялись и на этот раз. Но все это впереди. Пока же одни праздновали победу, а отцу предстояло смириться с поражением. Вечером того же памятного дня, 14 октября, к отцу пришел Микоян. После Пленума состоялось заседание Президиума ЦК, и Микояна делегировали к нему проинформировать о принятых решениях.

Сели за стол в столовой, отец попросил принести чай. Он любил чай и пил его из тонкого прозрачного стакана с ручкой, наподобие той, что бывает у чашек. Этот стакан с ручкой он привез из Германской Демократической Республики. Необычный стакан ему очень нравился, и он постоянно им хвастался перед гостями, демонстрируя, как удобно из него пить горячий чай, не обжигая пальцев. Подали чай.

– Меня просили передать тебе следующее, – начал Анастас Иванович нерешительно. – Нынешняя дача и городская квартира (резиденция на Ленинских горах) сохраняются за тобой пожизненно.

– Хорошо, – неопределенно отозвался отец.

Трудно было понять, что это – знак благодарности или просто подтверждение того, что он расслышал сказанное. Немного подумав, он повторил то, что уже говорил мне: «Я готов жить там, где мне прикажут».

– Охрана и обслуживающий персонал тоже останутся, но людей заменят. – Отец понимающе хмыкнул.

– Будет установлена пенсия – 500 рублей в месяц и закреплена автомашина, – Микоян замялся. – Хотят сохранить за тобой должность члена Президиума Верховного Совета, правда, окончательного решения не приняли. Я еще предлагал учредить для тебя должность консультанта Президиума ЦК, но мое предложение отвергли.

– Это ты напрасно, на это они никогда не пойдут. Зачем я им после всего, что произошло? Мои советы и неизбежное вмешательство только связывали бы им руки. Да и встречаться со мной им не доставит удовольствия... – отец с напором раз за разом произносил безликое «им». – Конечно, хорошо бы иметь какое-то дело. Не знаю, как я смогу жить пенсионером, ничего не делая. Но это ты напрасно предлагал. Тем не менее спасибо, приятно чувствовать, что рядом есть друг.

Отец как в воду глядел, уже через неделю все обещания показались Брежневу чрезмерными, из резиденции на Ленинских горах и дачи Горки-9 отца выселили, а уж о советничестве и речи не могло идти, само упоминание имени отца стало крамольным, до конца его дней никто из политиков по доброй воле с ним не встретился ни разу.

Разговор закончился. Отец вышел проводить Микояна на крыльцо перед домом. Все эти октябрьские дни стояла почти летняя погода. Вот и сейчас было тепло и солнечно. Ана-

стас Иванович обнял и расцеловал отца. Тогда в руководстве еще не привыкли целоваться, и это прощание всех растрогало. Микоян быстро пошел к воротам. Вот его невысокая фигура скрылась за поворотом. Отец смотрел ему вслед. Больше они не встречались.

Начало начал

Отец родился в деревне Калиновка Курской губернии в апреле, официально 17-го, а на деле 15 апреля 1894 года (при переходе со старого стиля на новый в его документах напутали). Имя Никита дали по святцам, 3 апреля (по старому стилю) – день памяти святого Никиты-исповедника. С детства отец мечтал выучиться на инженера, но сначала просто выучиться. Нормальной школы в Калиновке, как и в большинстве российских деревень, не было. Отцу удалось научиться в двухлетней школе при местной церкви началам грамоты да еще Закону Божьему.

В 1908 году Сергей Никанорович, мой дед³³, взял четырнадцатилетнего Никиту в Донбасс, в Юзовку³⁴, где сам он подрабатывал зимами, плотничая на шахтах. Крестьянским трудом прокормить семью не имелось никакой возможности. Поначалу Никиту пристроили на шахту, принадлежавшую французам, держали на подхвате, но недолго. Когда ему исполнилось пятнадцать лет, рассказывала бабушка Ксения Ивановна, Сергей Никанорович отвел его к Вагнеру, управляющему заводом Горнорудного машиностроения, принадлежащим бельгийцу Боссе. Освоившись, он вскоре стал зарабатывать больше своего отца. В шахтерскую среду отца ввел его новый знакомый, рабочий Иван Андреевич Писарев, он же приобщил и к общественной жизни, водил в кружки, где обсуждались насущные дела, в основном местного масштаба. Ни в партию большевиков, ни в какую-либо иную отец тогда не вступил – видимо, не играли тогда партии заметной роли в рабочей жизни. Членом коммунистической, тогда она еще называлась социал-демократической, партии, он стал уже во время Гражданской войны, в 1918 году. Думаю, что и без Писарева отец, с его энергичным характером и тягой ко всему новому, не миновал бы участия в рабочем движении. Но кто-то должен был помочь сделать первый шаг.

Роль семьи Писаревых в жизни отца оказалась более чем значительней. Первые годы самостоятельной рабочей жизни он снимал у них комнату. Там же столовался, стал почти членом семьи, а затем и породнился. Посватавшись по всем правилам, отец в 1914 году женился на одной из пяти дочерей Писаревых, Ефросинье. В 1916 году в них родилась дочь Юлия, а еще через год – мальчик Леонид. На этом семейная жизнь закончилась – революция, Гражданская война, тиф. От тифа в 1918 году и умерла Ефросинья.

Много лет спустя, в 1990 году, я проехал по отцовским местам, говорил с его сверстниками. В их памяти он остался худым, быстрым, рукастым пареньком, быстро схватывавшим все новое, компанейским и одновременно тянущимся к старшим, дорожившим их знакомством и расположением.

Начав зарабатывать, отец купил себе велосипед и гармошку, колесил по окрестностям, по вечерам растягивал мехи, на музыку слеталась молодежь, начинались танцы. Самому ему потанцевать удавалось не всегда, он – музыкант. Вскоре отцу наскучило крутить педали, и он приладил к велосипеду моторчик, получился мопед. По нынешним годам – не велико дело, но в начале XX века такое казалось почти космическим достижением. Поднакопив денег, купил еще одну диковинку – фотоаппарат, затем приобрел карманные часы (наручных в те годы в Донбассе не знали). Часы тогда не столько измеряли время, сколько являлись знаком перехода на следующую ступень в заводской иерархии. Их носили мастера, инженеры-железнодорожники. Отец мечтал выучиться и стать с ними вровень. Но учиться снова не пришлось, помогал родителям, зарабатывал на жизнь, потом появилась собственная семья. Какая тут учеба? Да и школ в округе не было. Что еще сказать об отце? Не чуравшийся вечеринок, отец не курил и не пил. Совсем не пил. В те годы в Российской империи набирала обороты первая в XX веке антиалкогольная кампания. В 1910 году в Санкт-Петер-

бурге собрался Всеимперский съезд по борьбе с пьянством. Отцу это начинание пришлось по душе, он одним из первых вступил в «Общество трезвости», вскоре его избрали председателем местного отделения. Не изменила его и Гражданская война. Когда отец занял высшие посты в партии и государства, ему стали дарить подарки. Часто дарили спиртное, оно оседало в доме, мама складировала бутылки в подвале резиденции на Ленинских горах, где мы жили. Постепенно их там накопилось великое множество. После отставки отца, так и не раскупоренные, они разошлись по родственникам и знакомым.

Согласно правилам, перед тем как попасть в дом, каждая подаренная бутылка отправлялась в специальную лабораторию, где из них шприцем отсасывали часть содержимого на анализ, нет ли там чего недозволенного. Отец шутил, что в лаборатории понимают толк в вине, ординарные вина приходили оттуда почти нетронутыми, а коллекционные вина выходили из лаборатории ополовиненными, подвергались «более тщательным исследованиям». Отец ворчал, но мер никаких не принимал. Хотя времена «Общества трезвости» и канули в лету, отец обильным возлияниям предпочитал застольную беседу, а уж под совсем хорошее настроение подначивал гостей на песню. Сам запевать он стеснялся, но с удовольствием подтягивал. Пели, в зависимости от настроения, русскую «Калинку», советскую «Ой, Днепр, Днепр», украинские «Рече та стогне Дніпр широкий» или «Гей, на гори та й жнецы жнуть». Из этой песни я запомнил пару куплетов:

Гей, на гори,
Гей, на гори,
Тай жєнци жнуть.
А попид горою,
А попид горою,
Казакї йдуть.
Попереду, попереду Дорошенко³⁵
Виде своє вийско, вийско Запоризьке
Хорошенько.
А позаду, а позаду
Сагайдачний³⁶,
Що зминяв вин жинку на тютюн та люльку,
Необачний.

Любовь к украинским песням, как и к украинской природе, к вышитым украинским рубашкам, не стесняющим горло тугим воротничкам, отец сохранил на весь остаток своей жизни.

Хорошее вино отец ценил, любил пробовать, отхлебывая из рюмки малюсенький глоток, почти каплю, гонял ее по языку и, наслаждаясь, причмокивал. В его коллекции хранилось несколько особо драгоценных бутылок старого вина, он говорил, сорокалетнего, откупоривали его лишь в особых случаях для дорогих гостей, правда, не всегда понимавших в винах. В таких случаях, когда гости расходились, отец сердился: как они смели «хлопать» сорокалетнее вино, как водку, рюмками, да еще капустой закусывать. Больше отец таким гостям «настоящих» вин не выставлял, ограничивался ординарными Цинандали и Хванчкарой. Водку отец не жаловал, а вот выдержанным коньякам отдавал должное, армянским предпочитал грузинские КВ. Для коньяка он держал специальную высокую узкую семиграммовую рюмочку (сейчас она хранится в Музее современной истории в Москве) и выпивал ее в три приема. С обычаем питья коньяка из специальных объемистых, усиливающих запах, бокалов, отец познакомился весной 1960 года во время визита во Францию, гостил в резиденции Шарля де Голля в Рамбуйе. Он оказался способным учеником, долго грел шаро-

видный сосуд в ладонях, круговыми движениями разбалтывал содержимое по стенкам, подносил рюмку к носу и наслаждался вдыхаемым ароматом.

Мог отец и захмелеть, но такое случалось редко. Помню его навеселе на приеме в Кремле в честь полета первого человека в космос. Он произносил тост за тостом за Юрия Гагарина, за конструкторов, за испытателей и, в отличие от большинства приемов, требовал наливать ему настоящий коньяк, а не чай из коньячной бутылки, как это обычно практиковалось. Можно вспомнить еще несколько подобных эпизодов на других приемах, там, где он считал невозможным манкировать, к примеру во время визита в Югославию в 1955 году, или просто, когда окружали уж очень симпатичные ему люди. Дома без компании он спиртного практически не употреблял, врачи запретили. К тому же отец страдал камнями в почках, после второй или третьей рюмки они начинали шевелиться, и эта ужасная боль кого угодно отохотит пить.

Отец не только никогда не курил, но и табачный дым на дух не переносил. Когда в 1924 году они с моей матерью, Ниной Петровной Кухарчук, решили жениться, отец поставил одно условие: «Бросай курить». И мама бросила, хотя курила уже несколько лет. Курение в те годы являлось одним из признаков эмансипации женщин. Пришлось ради любви эмансипацией пожертвовать.

После революции и Гражданской войны, в начале 1922 года, отец вернулся из армии на родную шахту и при первой возможности наконец-то пошел учиться на рабфак – рабочий факультет, школу для взрослых. Тогда учились и стар и млад, страна стремилась вырваться из неграмотности. Отцу уже шел двадцать девятый год – солидный возраст для школьника. Обучение велось ускоренным методом. Через три года, в 1925 году, отец закончил рабфак, мечта его жизни – Машиностроительный факультет в Харьковском политехе – казалась близкой к осуществлению. А дальше возжеленная карьера инженера, изобретателя...

Но мечты, к сожалению, редко осуществляются. Жизнь повернулась иначе. Партии он оказался нужнее здесь, в Донбассе, наступил НЭП, требовалось восстанавливать шахты, налаживать сельское хозяйство, вконец разоренные в годы военного коммунизма, и отец подчинился. Вместо студента Политехнического института он стал секретарем партийного комитета Петрово-Марьинского уезда. Он шаг за шагом поднимался по ступенькам партийной иерархии – в 1928 году переехал в тогдашнюю столицу Украины Харьков, а оттуда, с повышением – в Киев, в те годы считавшийся, в отличие от пролетарского Харькова, оплотом украинской интеллигенции и украинского национализма.

В Москву

Шли годы, но мечта об инженерной карьере не ослабевала, вот только ее осуществление отодвигалось год за годом. В 1929 году отец вплотную подошел к критическому рубежу, ему исполнилось 35 лет, по существовавшим тогда законам, старше этого возраста в высшие учебные заведения не принимали. Отец решил действовать. Он поехал в Харьков, пробился на прием к первому секретарю ЦК Компартии Украины Станиславу Косиору, упрямил его отпустить на учебу в Москву и, более того, рекомендовать в Промышленную академию³⁷.

В Москве, в Промышленной академии отца, несмотря на рекомендацию члена Политбюро ЦК, приняли более чем прохладно, сослались на недостаток «руководящего хозяйственного стажа» и порекомендовали вместо академии пойти на курсы марксизма-ленинизма при ЦК партии. «Вам туда, – сказали ему, вспоминает отец в своих мемуарах, – а здесь создано учебное заведение для управляющих, для директоров». В академию принимали хозяйственников, бывших рабочих, ставших после революции директорами заводов. Им требовалось во что бы то ни стало срочно набраться знаний, стать профессионалами. Отец же – партийный работник, мог и повременить. Но он уже принял решение, а характера ему уже тогда было не занимать. «Пришлось мне побеспокоить Лазаря Моисеевича Кагановича³⁸ и попросить, чтобы ЦК поддержало меня. Каганович тогда занимал должность секретаря ЦК. (Каганович Л.М., родился 22 ноября 1893 года на Украине в селе Кабаны Чернобыльского уезда Киевской губернии, по профессии сапожник; отучился в четырехлетней сельской школе, далее занимался самообразованием. С отцом впервые они встретились в октябре 1915 года, тогда Каганович под именем Бориса Кошеровича, уроженца города Шауляй, выступал на шахтерских митингах в Юзовке.) Я добился своего, Каганович меня поддержал, и таким образом я стал слушателем Промышленной академии», – с гордостью констатирует отец.

Отец поступил в Промышленную академию, но рано торжествовал победу, его подвела его же натура – активность, страсть вмешиваться во все, стремление верховодить. Отец становится секретарем парткома академии, с головой окунается в борьбу с оппозицией Сталину. Какая тут учеба? Но он старался изо всех сил, а так как сил на все не хватало, отбрасывал второстепенное. Что считать второстепенным, отец решал сам, не колеблясь, отнес к не имеющим реальной ценности в жизни предметам и иностранный язык. Кому и когда он понадобится?

В апреле 1989 года, в девяностопятилетие со дня рождения отца (оно пришлось на годы горбачевской перестройки, когда после четверти века забвения о нем стало безопасно упоминать), Дом кино организовал вечер памяти Хрущева. Устроители отыскивали живых свидетелей, среди них оказалась и Ада Александровна Федорова. Она преподавала в академии английский язык и, мягко говоря, осталась не в восторге от «успехов» отца. Рассказывала Ада Александровна о своих учениках с юмором. Отец едва удосужился выучить латинский алфавит, но двойку ему она поставить не решилась, все-таки секретарь парткома академии. В ректорате нашли иной выход – вычеркнули английский из вкладыша к диплому. По предметам, для отца важным, – математике, физике, черчению, он учился хорошо, даже отлично. Но доучиться отцу не дали, выдернули из академии и бросили на борьбу с оппонентами Сталина. В те годы член партии не распоряжался своей судьбой. Отец стал секретарем Бауманского, потом Краснопресненского райкомов Москвы.

Так ему пришлось распрощаться с мечтой о дипломе инженера, предстояли иные университеты. Шагая по ступенькам партийной карьеры в Москве, от секретаря райкома до секретаря Московского комитета, он постоянно набирался знаний у людей, с которыми его

сталкивала жизнь. В Бауманском районе она свела отца с тогда еще молодым авиаконструктором Андреем Николаевичем Туполевым. Общаться со строптивым ученым оказалось ох как трудно! От отца требовали обеспечить на предприятиях района производство бомбардировщиков. Он пошел в ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт), на улицу Радио, знакомиться с людьми. Туполев с порога огорошил его: «Я конструирую летательный аппарат, а что вы на него навесите: бабьи юбки, пулеметы или бомбы, не мое дело». Андрей Николаевич лукавил, испытывал отца. Тот выдержал испытание, нашел с Туполевым общий язык. Бомбардировщик, кажется, ТБ-3 сдали в срок. Дружеское взаимное расположение сохранилось у них на всю оставшуюся жизнь.

Потом пришла пора строительства московского метро. Отца, тогда уже второго секретаря Московского горкома партии, заместителя Кагановича, Сталин сделал ответственным за строительство, видимо как бывшего шахтера. Хотя слесарить в шахте и строить тоннели в московских пловунах – далеко не одно и то же. Отец любил рассказывать, как он дневал и ночевал на стройке, через тоннель метро ежедневно утром шел пешком на работу в Московский комитет партии, вечером тем же путем возвращался домой. Тогда всех мучила проблема эскалаторов. Это сейчас они часть обыденной жизни, а в начале 1930-х годов за них приходилось сражаться не на шутку. Многие маститые инженеры, в том числе начальник строительства Павел Павлович Роттерт, стояли за доставку пассажиров с поверхности земли на перроны лифтами, так же, как это происходило в лондонской подземке. Молодой и никому не известный инженер по фамилии Маковецкий считал затею с лифтами неразумной и предлагал заказать в Германии самодвижущиеся лестницы-эскалаторы. Они только начали появляться, а Роттерту казались вообще дикостью.

В обход Роттерта Маковецкий обратился за поддержкой к отцу. Отец его принял, долго расспрашивал и, уверившись, встал на сторону Маковецкого. Роттерт вспылил: мальчишка-инженер вместе с этим «недоучкой» – ему не указ. Он нажаловался Кагановичу. Каганович растерялся: «Надо идти на Политбюро, к Сталину (последний утверждал, что и как строить в московском метро), а Роттерт – против и Сталин может нас (Хрущева с Маковецким) не поддержать»³⁹.

Отец настаивал на своем. Сталин принял их с Маковецким сторону. Если быне интуиция отца, о предложении Маковецкого никто бы и не узнал, метро осталось бы без эскалаторов на долгие годы. Конечно, они бы в конце концов появились, но дорого яичко ко Христову дню.

«Пробил» отец и другую идею Маковецкого – перейти от строительства метро открытым, немецким, способом траншеями на подземную, как в Лондоне, прокладку тоннеля с помощью так называемых щитов, вращающихся буров-кратов многометрового диаметра. Они оставляли за собой почти готовую нору-тоннель, стены которого затем крепили чугунными секциями-тубингами. Так теперь строят повсеместно, а тогда нововведение Маковецкого мало кто поддерживал. Пришлось отцу и за него повоевать.

Занимался отец не одним метро, город одолевало множество других проблем, крупных и мелких. В 1932 году, по словам отца: «... в Москве была голодуха, и я, как второй секретарь горкома, изыскивал возможности прокормить рабочий класс»⁴⁰.

От безысходности занялись на заводах разведением кроликов, выращиванием шампиньонов. Заложили в заводских подвалах грибницы. Их, вспоминал отец, рабочие окрестили «гробницами». Но как бы то ни было, голод отступил. Маленькое дело, незначительное по нынешним временам, но тогда...

А городские туалеты?! Канализацию в Москве только начинали прокладывать, и о них даже не помышляли. Мелочи? Отец же считал начало внедрения туалетов в быт москвичей своим большим достижением. До того горожане справляли нужду исключительно в подвотнях и парадных, а теперь пожалуйста в специально отведенное для того место. Многие над

отцом и сейчас посмеиваются: нашел, чем хвастаться. А я вспоминаю одно из первых своих публичных выступлений в США в 1991 году, в многомиллионном Сиэтле. Тогда Москвой заправлял демократ Гавриил Попов. Набирала силу кампания переименования улиц, подпирала и другие демократические новации. Я о них рассказывал с упоением. На моей лекции присутствовал мэр Сиэтла. Слушал он меня внимательно, а когда я иссяк, встал и бросил реплику: «Главная забота мэра большого города не лозунги, а канализация, случись что с ней – больше не переизберут!» Тогда я недовольно поежился, а теперь понимаю, насколько они с отцом правы.

Еще одна московская проблема тридцатых годов: мосты и набережные. Тогда-то и началось приобщение отца к новейшим строительным технологиям. Он прилежно учился. Учителями же его стали лучшие специалисты своего дела, московские, естественно. Он разговаривал с ними подолгу, расспрашивал о деталях, жадно впитывал новые знания. Успокаивался он, только когда чувствовал, что докопался до сути, не сравнился с ними, но понял их правильно.

«Соответствующих знаний и опыта у меня не было. Приходилось брать усердием и старанием, затрачивая массу усилий»⁴¹, – напишет отец через тридцать с лишним лет в своих воспоминаниях.

Несмотря на карьерный взлет, до второй половины 1930-х годов отец воспринимал свои новые, все более высокие партийные должности как временные, не расставался с сундучком со слесарным инструментом, вывезенным еще из Донбасса. Казалось, еще немного, еще чуть-чуть, и он вернется к настоящему делу. Да и зарабатывал отец до революции слесарем побольше, чем платили секретарю Московского горкома партии. Только в 1938 году, когда Сталин решил направить отца в Киев, назначить первым секретарем ЦК Компартии Украины и одновременно избрать кандидатом в члены Политбюро ЦК, он окончательно отбросил мысли о возвращении к карьере слесаря.

Отцу не довелось стать инженером. Он стал управляющим, на современном жаргоне – менеджером. В централизованной государственной экономике политический лидер любого ранга занимается не столько политикой, сколько развитием экономики. Здесь талант не менее важен, чем образование. Менеджер никогда не добьется успеха без интуиции, без чувства нового, без умения организовать людей. Всем этим Бог наградил отца сполна. И он преуспел.

Спустя много лет, в сентябре 1959 года, отец, признанный мировой лидер, во время официального визита в США посетил в Сан-Хосе в Калифорнии завод компьютеров фирмы IBM. Принимал его президент и сын основателя компании Томас Уотсон-младший. Еще через четверть века, в начале 1990-х годов, мне довелось встретиться с ним, и мистер Уотсон поделился впечатлениями о той встрече. В 1959 году отношения между СССР и США только начинали оттаивать, речи не шло о сотрудничестве. О взаимной терпимости, отец называл ее мирным сосуществованием, только начали говорить. Тома Уотсона проинструктировали из Госдепартамента: «Держаться корректно, не выходить за рамки протокола, никаких улыбок, не говоря уже о большем». Последнее казалось излишним – какие симпатии могли возникнуть между крупнейшим миллиардером США и лидером страны, поставившей своей целью отобрать эти миллиарды у богатых и раздать людям?

– Когда мы встретились, – рассказывал мне мистер Уотсон, – выдержать официальный тон удалось только первые несколько минут. Потом ваш отец удачно пошутил, все заулыбались, установился контакт. Мы пошли по цехам. Ваш отец разговаривал с инженерами, рабочими и всегда находил нужное слово, нужную интонацию, хотя ни черта не понимал в компьютерах. Этим уникальным качеством, позволяющим управляться с людьми, обеспечивающим успех в деле, в бизнесе, из тех, кого я знал, обладал еще только один человек – мой отец. Он также легко овладевал любой аудиторией.

Из уст Тома Уотсона эти слова прозвучали не пустой похвалой. Его отец – Том Уотсон-старший, приобретя захудалую фабричку швейных машин и часов-ходиков, только благодаря своему таланту организатора превратил ее в мирового лидера компьютерной премудрости. Он, как и отец, слабо разбирался в тонкостях вычислительной техники. Так что образование – лишь один из компонентов успеха государственного деятеля или крупного менеджера. В этом их судьба схожа с судьбой настоящих писателей, актеров, им тоже успех обеспечивается не красным дипломом литературного института или театральной академии.

Не доучившись в школе и Промышленной академии, отец черпал свои знания в общении с людьми творческими, неординарными, естественно, из тех областей знаний, которые его особенно интересовали. Он с удовольствием и подолгу беседовал с главными конструкторами самолетов и тракторов, ракет и сеялок, станков и телевизоров, но и тут при одном условии: собеседник должен знать и любить свое дело. Тех, кто лишь занимал соответствующее кресло, отец раскусывал быстро, вежливо выслушивал, сердечно прощался и больше никогда не приглашал. Знакомством с людьми, досконально владеющими предметом, увлеченными своим делом, отец искренне гордился, часто наезжал к ним в исследовательские институты и конструкторские бюро. Позволю себе немного отвлечься. В конце 1990-х годов я получил по почте увесистый том воспоминаний киевлянина Петра Палия⁴². Палий пишет не об отце, он рассказывает о собственной жизни, о войне, о немецком плене, об армии генерала Власова и о своей службе в ней. Только в самом начале книги автор мельком вспоминает довоенный Киев. Там он, уже немолодой, отсидевший срок за «вредительство» технарь, оказался в должности главного инженера строительства ТЭЦ (теплоэлектроцентрали). Сооружали ее новым скоростным крупноблочным методом, и отец им сразу заинтересовался. Он приехал на строительную площадку, затем пригласил к себе в ЦК начальника строительства Трофима Миронова, начал расспрашивать его о технических деталях. «После двух таких докладов, – пишет Палий, – Хрущев сказал Миронову: “Ты Трофим, мало разбираешься, присылай с докладом своего главного инженера”», то есть Палия. Больше Миронов к Хрущеву не ездил. Это свидетельство совершенно случайного человека, от отца далекого и в чем-то ему даже враждебного.

Еще один источник знаний – отчеты о еще редких тогда командировках наших специалистов за границу, статьи о технических новинках в журналах и газетах, научно-популярные фильмы. Заинтересовавшись, он вызывал к себе авторов, подолгу беседовал и все запоминал. Памятью природа наделила отца феноменальной. Казалось, он не забывал ничего, в ней фиксировались цифры надоев молока и урожаев сои, дальности полетов самолетов и ракет, мощности турбин и еще многое, многое другое, что могло ему понадобиться... или не понадобиться. В результате не только удовлетворял свое любопытство, но и держался на уровне последних достижений науки. Каждую услышанную или увиденную малость отец стремился обратить на пользу делу.

Человек, с дипломом или без него, учится всю жизнь, черпает в ней то, что важно для его профессии, и отбрасывает «шелуху». Секрет успеха кроется в способности человека отделить зерна от плевел. Что же до формального образования?.. Ординарному человеку – необходимо, выдающемуся оно лишь подспорье, облегчающее продвижение по жизненному пути. Чтобы добиться большего, нужен еще и талант. Если его нет, то никакое образование не поможет. Как и где провести грань между «образованцами», как их метко назвал Александр Солженицын, прослушавшими все курсы, сдавшими все экзамены, получившими дипломы МГУ, Итона или Гарварда, и людьми, отмеченными талантом, в молодые годы определившимися со своим предназначением, самостоятельно или с помощью других, овладевшими глубинным знанием, неважно – в физике, музыке, сочинительстве, строительстве или менеджменте-управлении? Ответ совсем не лежит на поверхности.

Для человека воистину талантливого и целеустремленного большинство преподаваемых ему в учебном заведении дисциплин не нужно, экзамены только мешают изучению предметов, для него действительно важных. Для него, после овладения необходимым минимумом знаний, дальнейшее обучение в десятилетке, а затем в университете – время, в значительной степени растраченное неэффективно, в ущерб истинному знанию, черпаемому из книг, общению с умными людьми и просто размышлениям.

Другое дело «посредственность-образованец», диплом и отметки для него – все, все, чего он может достичь – *мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь*. Формальное образование позволяет посредственности обрести знания, обеспечивающие будущее, и рассчитано оно на посредственность, ибо подавляющее большинство из нас – посредственности. Для посредственности «корочки» – признак образованности, отличия от недипломированных неучей, в число которых зачисляются таланты и даже гении. Ведь судят, кто гений, а кто – нет, те же посредственности. Для них «не способный» или не желающий получить какой-либо аттестат, будь он даже семи пядей во лбу, не заслуживает внимания.

Формальное образование одного из самых блестящих советских военачальников – маршала Константина Константиновича Рокоссовского – сводилось к четырем классам сельской школы до революции и ускоренным командирским курсам после нее. Ни выдающийся советский физик академик Николай Николаевич Боголюбов, ни основатель теории относительности Альберт Эйнштейн не удостоились университетских дипломов, а гениальный американский изобретатель Томас Алва Эдисон – вообще самоучка. До всего они дошли своим умом. Судьба Эйнштейна, Боголюбова или Эдисона – это история успеха. О множестве других талантов, сгинувших в безвестности с клеймом «неуча», тех, кто не смог пробиться сквозь формальные преграды, установленные посредственностью, мы просто не знаем ничего. Ибо посредственность – это великая сила. Образованные посредственности, как все посредственности, непоколебимо уверены в собственной правоте и, получив возможность распоряжаться судьбами людей, могут наломать немало дров. В этом россияне убедились в 1990-е годы на собственном опыте, когда к власти в стране пришли «образованцы» – Гайдар и его команда. Они в считанные годы спустили народное достояние, наработанное по меньшей мере четырьмя-пятью предыдущими поколениями.

На это отступление от темы меня навели многочисленные публикации, муссирующие одну тему: орфография Хрущева оставляет желать лучшего. Особенно меня задела книга одного бывшего советского генерала, занявшегося жизнеописанием советских вождей, в том числе и отца. Бог с ней, с фамилией генерала, еще недавно она держалась у всех на слуху, а теперь ее стали подзабывать. Человек он неплохой, но, как и многие выходцы из армейских политорганов, прямолинейно-недалекий. Получив уникальный шанс знакомиться с любыми документами в Кремлевском архиве, он не проявил интереса к их исторической сущности, а по укоренившейся замполитовской привычке занялся поиском «блох», якобы подтверждавших «правоту момента». Момента, заданного сверху и в который он в очередной раз уверовал. Таким манером десять и более лет ранее он разоблачал империализм Эйзенхауэра, Кеннеди, Рейгана или Черчилля с де Голлем. Теперь с тем же рвением он выискивал «родимые пятна» на теле коммунистического прошлого и его лидеров, в частности Хрущева. В очерке об отце автор не обсуждает всерьез ни внутреннюю, ни внешнюю политику, ни реформы армии, ни совнархозы, ни сельское хозяйство, не говорит ни слова об успехах и даже поражениях отца, но основное внимание сосредотачивает на орфографии нескольких (из сотен) резолюций. Как будто он не генерал-политик, а учитель пятых классов. Да, отец писал с ошибками, как писал с ошибками и нобелевский лауреат академик Николай Николаевич Семенов или академик Михаил Лаврентьев, которого из-за ошибок в правописании в свое время не приняли в гимназию⁴³. ... Все это правда, но не единственная правда об отце.

Снова на Украине

С февраля 1938 года отец переезжает в Киев, сменив на посту первого секретаря ЦК Компартии Украины впавшего в немилость Станислава Косиора. Отец попытался отказаться, сказал, что Украиной должен управлять украинец, а он русский и по-украински объясняется через пень-колоду. Но Сталин на него цыкнул, сказав, что русский Хрущев управится там не хуже поляка Косиора. Теперь отцу предстояло не только учить язык, но и с азов осваиваться в житнице Советского Союза, осваивать земледелие. С четырнадцатилетнего возраста он не прикасался к плугу, о сельском хозяйстве имел более чем приблизительное представление. Учился отец быстро. Вскоре уже начал понимать, в чем разница позиций профессора Прянишникова, ратовавшего за развитие промышленности химических удобрений, и любимца Сталина академика Василия Вильямса, проповедывавшего травопольную систему и обещавшего (почти как впоследствии другой академик, Трофим Лысенко) изобилие практически бесплатно, только за счет смены выращиваемых на поле растений. Отец тяготел к Прянишникову, но внедрял официально одобренную Сталиным систему Вильямса. Правда, на Украине она не приносила обещанного эффекта, а «на юге вообще ничего не получалось»⁴⁴.

Другой палочкой-выручалочкой в те годы считалась глубокая пахота, она тоже внедрялась директивно, решениями Политбюро. За неукоснительным исполнением решений следило НКВД. «Тогда велись буквально судебные процессы против буккера – орудия для поверхностной вспашки почвы. Сторонников пахоты буккером осуждали и ликвидировали», – вспоминал отец⁴⁵.

Все эти агротехнические тонкости знать отцу требовалось назубок. На засушливом юге люцерны и другие травы растут плохо, а именно они, по мысли Вильямса, должны были за три года восстанавливать плодородие почвы и подготавливать поля к новой посевной. Должны бы, но получалось далеко не всегда и не везде. Собственно, такова участь любой теории: где-то она применима, где-то нет. С глубокой вспашкой – проще, она хороша в средней полосе, плуг переворачивает пласт земли, тем самым «хоронит» сорняки и перемешивает влажную от частых дождей почву. На юге дождей раз-два и обчелся. Вывернешь нижний, еще хранящий следы влаги слой земли, он быстро просохнет на ветерке да на солнышке, и прощай, будущий урожай. А если по весне еще заветрит, то не избежать и пыльной «черной» бури. Поэтому там землю чуть рыхлили, «царапали», как говорил отец, не плугом, а скорее бороной, неглубоко прорезали, не переворачивая остатки прошлогодних посевов фрезами. Эта технология пришла из США, там, на Среднем Западе, те же проблемы, и название осталось американским – «буккер». Что оно означает, никто уже и не помнил. Сталин посчитал, что крестьяне просто ленятся пахать по-настоящему, глубоко, и приказал «органам» проследить. К «буккеру» на протяжении этой книги мне еще придется возвращаться не раз. Так уж получилось, что он переплелся с жизнью отца.

Еще одной «головной болью» отца в те годы стала сахарная свекла, единственный источник сахара в стране. Сеяли ее рядками, вдоль них периодически рыхлили землю специальными ножами, установленными на тракторах, подрезали сорняки в междурядье, а вот прореживать свеклу и полоть сорняки в рядках приходилось руками. Рук требовалось множество, на свекле все лето трудились школьники, студенты и даже красноармейцы. Агрономы мечтали: как бы научиться высевать сахарную свеклу не рядками, а точно, в шахматном порядке. Тогда и обрабатывать посевы машинами можно не только вдоль рядка, но и поперек, а во всей этой ораве мобилизованных надобность отпадет. Рассказывали, что аме-

риканцы до такого уже додумались. Узнав об американских опытах, отец попросил разыскать всю доступную информацию, но воспользоваться ею не успел, грянула война.

С первого дня – он на фронте, отступал от Тернополя до Сталинграда, испытал горечь поражения под Киевом в 1941-м и под Харьковом в 1942 году, радость победы под Сталинградом и Курском в 1943-м. Дошел до Киева, похоронил в парке над Днестром своего друга, командующего 1-м Украинским фронтом генерала Николая Федоровича Ватутина, погибшего от пули украинских националистов, и вернулся к своим обязанностям секретаря ЦК Компартии Украины и председателя правительства республики. Пришла пора восстанавливать разрушенное войной. Отступающие войска взрывали, сжигали все, что могли: в 1941 году – наши, в 1943-м – немцы. С отцом я расстался 22 июня 1941 года, когда он, вместе с прилетевшим из Москвы начальником Генерального штаба генералом Георгием Константиновичем Жуковым, машиной уехал на фронт. Лететь поостереглись, в воздухе свирепствовали немцы, железнодорожные пути оказались разбомбленными. Мы же оставались в Киеве. В первые дни, не ощущая трагедии происходившего, продолжали жить на даче в Межигорье. Белое здание загородной резиденции кое-как закрасили зеленой краской, натянули зеленые веревки с навешенной на них бахромой маскировки. В небе над нами днем, не таясь, гудели летевшие на восток вражеские бомбовозы. Нас не бомбили, бомбили Дарницю – железнодорожный узел за Днестром. Такая «идиллия» продолжалась с неделю. Мы, как и все остальные, не представляли, что творится на фронте, считали: враг далеко, его вот-вот остановят. В последние дни июня от отца с фронта передали команду: «Срочно уезжайте». Эвакуировались мы 3 июля, мне этот день запомнился, накануне был мой день рождения. В тот год о нем никто и не вспомнил, и я очень огорчился. На следующий день началась суeta, бегство. Вещи с собой не брали, только самое необходимое, что влезло в разрешенные кем-то «наверху» пару чемоданов. Вскоре после нашего отъезда мышеловка захлопнулась, немцы окружили Киев, но мы уже были далеко, поезд увез нас в Куйбышев (ныне Самара). Там мы провели самые трудные военные годы, и только после победы в Сталинграде переехали в Москву.

На Украине после войны

За первые два года войны я видел отца лишь однажды. Мы уже переехали из Куйбышева в Москву, и он оказался в столице по каким-то своим, военным, делам. Встречей назвать это трудно, отец заехал на пару минут в подмосковный Новогорск, где мы жили на даче, и тут же заторопился назад.

А потом пришел победный 1944 год. Год десяти, как тогда говорили, сталинских ударов. Немцев окончательно разгромили, и в апреле 1944 года мы всей семьей поехали в Киев навестить отца, поздравить его с пятидесятилетием. Впервые на моей памяти он позволил себе отпраздновать день рождения. В Киеве меня поразило яркое, не по-московски теплое апрельское солнце, зеленая трава, первые одуванчики. Разместился отец на окраине, на Куреневке. Довоенная резиденция в центре Киева, на улице Карла Либкнехта, которую все называли по-старому Левашовской, после немцев оказалась непригодной для жилья, частично сгорела.

Улица называлась Осиевской (потом ее переименовали в улицу Герцена, сейчас ее, наверное, снова переименовали), два одноэтажных дома, № 14 и № 16, один занимал отец, другой – охрана. До революции, как рассказывали киевские старожилы, это поместье принадлежало зажиточному аптекарю. Если дом на Левашовской обрамлялся тесным двориком, зажатый нависающими над ним многоэтажными зданиями, то новая резиденция утопала в обширном сиреневом саду. Сирень росла повсюду белая, розовая, темно-бордовая, фиолетовая, махровая и обыкновенная – сиреневая. От улицы сад отгораживал деревянный, тогда еще некрашенный, забор.

Все это великолепие в начале мая зацветало, и начиналось весеннее неистовство возрождавшейся жизни. Сирень влекла к себе мириады бабочек, простых коричневых с разводами крапивниц, почти черных со скорбной бело-желтой каймой по краям крыльев траурниц, притворяющихся шмелями шмелевидных бражников, настоящих шмелей, пчел, мух и к концу цветения – огромных, с желтыми, расчерченными черными полосами, хвостатыми крыльями, махаонов. Многоцветие весеннего праздника жизни жужжало, перепархивало с цветка на цветок, превращая сиреневые кусты в оживший калейдоскоп. Я уже тогда увлекался коллекционированием бабочек и мог часами слоняться вокруг сиреневых кустов с марлевым сачком в руках. Вокруг дома и вдоль забора до самого неба вытягивались каштаны с бело-розовыми пирамидами соцветий. Они привлекали меньше насекомых, проигрывая тем самым в моих глазах в конкуренции с сиренью. Теперь уже такого праздника жизни ни в Киеве, ни в Москве, ни в Америке не увидите, бабочки почти вымерли, шмели и те стали редкостью, наступило царство мух.

16 апреля, в канун дня рождения отца, немцы совершили очередной массированный налет на скопившиеся в Дарнице железнодорожные эшелоны. Теперь, в отличие от начала войны, они летали только ночью и их встречали ожесточенным огнем зениток. Поутру я насобирав целую кучу осколков, длинных зазубренных кусков металла. Тем авианалетом война для меня закончилась. Вскоре немцам стало не до Киева.

После дня рождения отца мама решила поехать на дачу, в загородную резиденцию украинского правительства в Межигорье, откуда наша семья так поспешно бежала в 1941 году. Мы, дети – Рада, Лена и я, увязались за ней. Отец остался в Киеве. День стоял по-апрельски солнечный. Ехали мы по шоссе, так гордо называлась тогда мощенная булыжником узкая дорога, в отличие от обычных в те годы проселков, пыльных в жару, а после дождя непроезжих из-за грязи.

Дача стояла в запустении, стены исчерблены осколками снарядов, кое-где зияли дыры от прямых попаданий. Что мне, девятилетнему, особенно запомнилось? Оружие, масса бес-

хозного оружия! Земля была усыпана патронами, гильзами, минами, повсюду валялись винтовки. У пруда, задравши в небо стволы, застыли зенитные пушки. Возле дома, где мы жили до войны, то тут то там в беспорядке топорщились холмики солдатских могил с воткнутыми в них фанерными дощечками. На каждой – надпись, начинавшаяся словами: «Герой Советского Союза», и дальше звание от капитана до рядового... Весь личный состав передового батальона, форсировавшего Днепр, получил звания героев, и весь он полег здесь, в Межигорье. Вскоре их перезахоронили в киевском Парке славы над Днестром. Покрутившись в саду, мы вернулись той же дорогой в Киев. Нам повезло; на шоссе в тот же день на противотанковой mine подорвался трактор, а когда саперы занялись дачей, на ее дорожках нашли множество противопехотных мин. Нас же Бог миловал. Вскоре мы вернулись в Москву, а в сентябре 1944 года переехали к отцу в Киев. Теперь уже насовсем.

Несколько слов о Межигорье. Расположено оно по Днепру чуть выше Киева, за Пушчей Водицей. Сейчас это почти пригород, а тогда казалось – дальней далью. Своим названием Межигорье обязано не горам. Примыкающий к правому обрывистому берегу Днепра небольшой плодородный пятачок земли, наоборот, опустился ниже уровня окрестных полей, и тем самым схоронился от ветра, создался оазис, защищенный с трех сторон от продувных степных ветров. От соседнего села Валки вниз ведет узкое ущелье, скорее всего, древняя промоина, по ней проложена дорога, еще в то время замощенная булыжником. Если смотреть сверху, то выглядело место как огромная яма, на ее дне – райский уголок, окруженный заросшими дубняком и соснами склонами – Межигорье.

Целебный климат Межигорья оценили еще наши далекие предки, основали там монастырь, в котором доживали отставленные от ратных дел запорожские казаки. Они построили обитель, посадили груши, яблони, абрикосы, черешню, вишню, возвели на пути стекающего сверху ручейка запруду. И получился вытянувшийся в длину на пару сотен метров пруд. В окружающих монастырь горах выкопали пещеры. В них монахи спасались от врагов и хранили свои сокровища. Говорили, что Межигорские пещеры соединяются подземным ходом со знаменитым пещерным монастырем Киево-Печерской лавры, а это более тридцати километров. Не знаю, по силам ли было предкам такое инженерное сооружение. Подземный ход, ведущий в Киев, искали многие, но я не слышал, чтобы нашли. А вот в Межигорские пещеры до войны пробраться не представляло труда: один вход – на обрыве над Днепром, другой – прятался в лесу. Меня в пещеру, по малолетству, не пускали, а старшие, в том числе и охранники дачи, лазили туда неоднократно. Ходили слухи о захороненных в пещерах монастырских сокровищах, кое-кто утверждал, что даже видел там горы разного добра. Но, как водится в подобных историях, до клада никто не добрался, а потом дорогу к нему якобы завалило. Так до сих пор и неизвестно, что правда, что вымысел.

Во времена Екатерины II Запорожскую Сечь ликвидировали, часть казаков бежала за Дунай к туркам, остальные рассеялись по Украине. Монастырь захирел, казаки-монахи потихоньку поумирали. Как рассказывали знающие люди, Межигорье (тогда это место стали именовать Межигорка) отошло к дочери Екатерины II и князя Григория Александровича Потемкина-Таврического. Там она жила со своим мужем, отставным херсонским губернатором И.Х. Калагергией. Кто владел этими благословенными местами после них, я не знаю.

В конце двадцатых годов, с началом нэпа, революционеры решили налаживать свой быт. Тогда для председателя Союзного правительства Алексея Ивановича Рыкова выстроили под Москвой резиденцию Горки-9, а украинские руководители облюбовали Межигорье. Старые постройки снесли, на их месте возвели три каменных двухэтажных дома. Два дома стояли на самой круче над Днепром, а один – поглубже, в саду. Мне запомнились высоченные, метра в четыре потолки, а может быть, это так казалось с «высоты» моего пятилетнего роста. Сначала в Межигорье жили по несколько семей в каждом доме, как в пансионате. Впоследствии остались три высших руководителя: партии, правительства и Президиума Вер-

ховного Совета Украины. Площадку между домами расчертили аккуратные заасфальтированные дорожки – небывалая роскошь в довоенные времена. На заросших высокой травой газонах, косили их два-три раза в году, росли старые яблони и груши. Особенно запомнились грушевые деревья сорта «Украинка» высотой с трехэтажный дом, усыпанные плодами на недостижимой высоте. Созревшие груши периодически шлепались об асфальт, один бок сплющивался, из него сочился сладкий, сказочно сладкий сок. Подбирать их следовало со сноровкой – первыми всегда прилетали суетливые осы и, чего мы, дети, особенно опасались, огромные темно-желтые, с черными полосами, ну чисто тигры, басовитые шершни. Они быстро въедались в грушу снизу и начинали выгрызать ее изнутри. Если неосторожно поднять плод с такой «начинкой», то не миновать сразу нескольких укусов. А жало у шершня помощнее и поядовитее, чем у осы или пчелы. Поэтому мы сначала тыкали в приглянувшуюся грушу длинным прутиком, и только убедившись, что опасности нет, брали ее в руки.

Вкус ее я не берусь передать, нам он казался просто божественным. Много позже я купил такие же груши на базаре в Киеве. Груши как груши, весьма средние, и не сладкие, и не ароматные. Никогда не следует в зрелые годы поддаваться очарованию детских воспоминаний.

Купание в Днепре, столь притягательное для малышей, выливалось в настоящую экспедицию. К воде можно было попасть, лишь спустившись со стометрового обрыва по многопролетной, оборудованной площадками с лавочками для отдыха, покрашенной в казенный зеленый цвет деревянной лестнице. Поэтому ходили мы на Днепр редко и только в сопровождении взрослых. Это неудобство компенсировалось уже упомянутым выше приткнувшимся в углу сада длинным, пахнущим тинной, населенным огромным количеством лягушек и карасей, прудом. В нем нам не возбранялось плескаться в любое время. За ноги цеплялись водоросли, молодые карасики, осмелев, начинали пощипывать ноги, собирая только им одним ведомый урожай. С берегов в воду то и дело плюхались испуганные нашим присутствием здоровенные зеленые лягушки.

Во время наступления на Киев осенью 1943 года один из домов основательно разрушил огонь артиллерии. Его не стали восстанавливать. В том месте круча Днепра грозила оползнем. Два других дома пострадали меньше, проломы от снарядов в стенах быстро заделали, копоть от пожара замазали. После войны в них жил отец и, короткое время, Лазарь Моисеевич Каганович, присланный Сталиным в 1947 году навести на Украине порядок. Он заменил отца в качестве первого секретаря Компартии Украины. Отцу оставили пост главы правительства республики. Сейчас стало известно, что это решение «хозяина» грозило обернуться для отца смертным приговором. Именно так, безобидным на первый взгляд перемещением с партийного на чуть менее значительный государственный пост, начиналось нисхождение в энкавэдэшный ад его предшественника, украинского «наместника» Станислава Косиора и многих, многих других членов и не членов Политбюро. Но в то время я ничего не замечал.

По воскресеньям отец с Кагановичем, а следом за ними мама с женой Лазаря Моисеевича Марией Марковной парами гуляли по межигорским дорожкам, ходили друг к другу в гости, вместе обедали, смеялись, шутили. Моя старшая сестра Юлия подружилась с дочерью Кагановича Майей. Его приемный сын Юра с нами, малышкой, общался мало, он уже окончил школу, готовился стать военным. Вскоре Кагановичи исчезли, видимо, намерения Сталина изменились, и Лазарь Моисеевич отбыл в Москву. Вместо них в дачу вселилась семья Леонида Романовича Корнийца, отцовского первого заместителя по Совмину. Люди простые, компанейские, приветливые и, в отличие от Кагановича, совсем не опасные. Рада теперь дружила с их дочерью Нелей. Они и до сих пор перезваниваются.

Сестра Рада выросла и, закончив киевскую школу № 13, уехала в Москву поступать в университет учиться на журналиста. Затем до меня докатился из Москвы слух, что Рада

выходит замуж, жениха зовут Алешей, его мама в дружбе с самим Берией, и летом, на каникулы, они приедут знакомиться в Киев.

Я с нетерпением ждал встречи: как это, у Рады – и вдруг жених? Алеша мне понравился с первого взгляда, симпатичный, приветливый. Ночевать его в Межигорье определили в «моей комнате», там пустовала дополнительная кровать. Нужно сказать, что перед самой войной я заболел туберкулезом сумки бедра. Я и сейчас не очень понимаю, что это такое, но меня до пояса запеленали в гипс, уложили вместо матраса на лист толстой фанеры, накрытой для комфорта одним слоем тонкого байкового одеяла, и я пролежал на нем целый год.

В начале 1943 года туберкулез затих, мне укоротили гипсовую повязку до колена и разрешили вставать. Я учился ходить во время Сталинградской битвы. А время тогда отсчитывалось по сводкам с фронта. До конца 40-х годов я носил кожаный, прошитый стальными полосами, ограничивающий движение правой, больной ноги корсет-протез.

К моменту приезда жениха с невестой режим ослабел – мама уже каждый вечер не контролировала мой отход ко сну, и я все чаще укладывался не на свою фанеру, а на стоявшую рядом гостевую кровать с таким мягким пружинным матрасом. Приезд Алеши разрушал эту идиллию. Гостевая кровать по праву принадлежала ему. Вечером, после ужина мы с Радиным женихом отправились укладываться вдвоем, без сопровождения старших. Я придумал: гость не знает, что моя кровать с «сюрпризом» и, взяв инициативу в свои руки, «гостеприимно» уступил ему свое ложе. Сам же улегся на гостевое.

Что передумал Алеша за ту ночь? Может быть, посчитал, что в нашей семье так проверяют женихов? На следующее утро он ничего не сказал, я же почему-то не сомневался, что подвоха он не заметил.

Кто и как освобождал Киев? (Отступление первое)

Случилось так, что осенью 1943 года именно Межигорье послужило ключом к Киеву. После победы на Курской дуге в июле 1943 года следующим рубежом немецкой обороны стал Днепр, а следующей вожделенной целью наступавшей Красной армии – Киев, на высоком правом берегу Днепра. Я подчеркиваю высоту правого берега. Текущие к югу речные воды влекутся силой Кориолиса вправо, подмывают и обрушивают склоны Днепровских приречных холмов. Таковы законы природы. С днепровских круч, с Владимирской горки и растянувшейся к югу от нее полосе парков открывается потрясающий вид на череду песчаных пляжей, на низинное Заднепровье, Оболонь и дальше до самого горизонта. В войну обрывы над Днепром превратили Киев в неприступную крепость, встретившую наступавших стеной. Взобраться на них не приходилось и мечтать, наверх вели только проделанные весенними потоками узкие промоины – настоящие западни для атакующих. К тому же с возвышенного правого берега немцы могли, как на макете, наблюдать все перемещения наступавших советских войск.

Отец, в то время первый член Военного совета 1-го Украинского фронта, член Политбюро, представитель Московской верховной власти в штабе фронта, в военные дела напрямую не вмешивался, командовать положено профессионалам. Не все представители Сталина на фронтах придерживались такой позиции. Кое-кто пытался прибрать власть к своим рукам. Если, конечно, командующий позволял такое самоуправство, не жаловался в Кремль, не просил или требовал отозвать слишком ретивого комиссара. Вмешательство в дела военных обычно заканчивалось печально, а иногда вело и к катастрофе, как случилось в Крыму весной 1942 года. Тогда член Военного совета Лев Захарович Мехлис, человек весьма близкий к Сталину и к тому же психически не очень уравновешенный, полностью деморализовал слабовольного командующего войсками Дмитрия Тимофеевича Козлова и взял военную власть в свои руки. В результате войска попали в окружение, пал Севастополь, немцы захватили Крым. Отец вел себя иначе. Он с первого дня налаживал дружеские отношения с генералами. Они видели в нем не надзирающего, а союзника, если понадобится, то и защитника от гнева Сталина. Человек активный, отец не мог оставаться сторонним наблюдателем. С 1941 года, отступая и наступая вместе с войсками, он многому научился и ощущал себя вправе иногда советовать командующему, но, как правило, на своем не настаивал. Особенно теплые отношения сложились у отца с командующим 1-м Украинским фронтом генералом Ватутиным. В июле 1943-го они вместе выстояли на Курской дуге и теперь гнали немцев до самого Киева. И тут все уперлось в форсирование Днепра. Немцы считали его последней серьезной преградой на советской территории. После Днепра путь Красной армии в Германию открыт.

Первый раз форсировать Днепр и взять Киев попытались еще в конце сентября, 23-го числа. Две армии – общевойсковая генерала Кирилла Семеновича Москаленко и танковая генерала Павла Семеновича Рыбалко, километрах в восьмидесяти к югу от Киева, в районе Букрина овладели несколькими плацдармами. Но дело застопорилось, немцы навалились на них всеми своими резервами, приходилось не столько думать о наступлении, сколько об обороне. Через пару недель стало ясно: к Киеву отсюда не пробиться. Тогда решили ударить в шестидесяти километрах севернее Киева, в районе Козельца. Для операции выделили из резерва две армии, командовали ими очень хорошие генералы Николай Павлович Пухов и Иван Данилович Черняховский. И тут прорыва не получилось. Ставка приказала остановиться, а командованию фронтом поручили представить новый план форсирования Днепра.

Ватутин и неизменно находившийся рядом отец, наверное, в сотый раз разглядывали карту. Тонкие линии, обозначающие на карте высоту над уровнем моря, на берегу Днепра сливались в жирную черту почти отвесного многометрового перепада, обрыва, ставшего неодолимой крепостной стеной. В природе не существовало артиллерии, способной проделывать в ее многометровой толще ведущие наверх проходы. Тут отца осенило, и он ткнул пальцем в малоприметную точку, обозначающую прибрежную деревню Новые Петровцы.

– Вот здесь, Николай Федорович (отец никогда не обращался по имени, даже к близким товарищам, только по имени и отчеству или фамилии), до войны я жил тут на даче. Сказочное место не только для отдыха, но для наступления. Посмотрите, вот эта круглая, как кастрюля, котловина, смыкающаяся с одной стороны с днепровским пляжем, а с другой соединенная единственной дорогой-ручкой с плато. За многие десятилетия речушка, скорее ручей, промыл плавный спуск к самому Днепру, образовав там песчаную косу, которую можно использовать для высадки передовых сил. Она заросла ивняком, в нем можно укрыть не только пехоту, но и танки. По идущей вдоль ручья булыжной дороге с косы легко подняться в котловину. Там мы закрепимся. Выбить нас немцам будет сложно. Тем временем построим переправу, накопим силы и, когда изготавимся, вывалимся из котловины на плато, как поспевшая каша из кастрюли. Оттуда до Киева 27 километров, я сам измерял по спидометру. Двинемся по равнине вдоль шоссе прямехонько на Подол.

Отец замолчал и вопросительно посмотрел на Ватутина. Николай Федорович никогда не соглашался и не возражал с ходу. Один из лучших штабистов того времени, он тщательно взвешивал «за» и «против», а уж потом выносил решение, окончательное решение.

– Думаю, мы должны серьезно просчитать этот вариант, Никита Сергеевич, – не изменил он своей привычке и на этот раз. – На первый взгляд, план сулит успех, но надо все обмозговать.

На этом разговор закончился, штаб получил указание разработать операцию. Форсировать Днепр у Межигорья предстояло 38-й армии генерала Чибисова. Я не ставил себе целью писать о войне. Начал писать о Межигорье и запнулся на фамилии Чибисов. В истории войн, сражений, так же как и в семейной жизни, одно и то же событие заинтересованные стороны описывают неодинаково, порой трудноузнаваемо. Генералы, как примадонны, не терпят соперников, особенно удачливых, нередко обливают друг друга грязью с ног до головы. В истории Второй мировой войны наиболее ярко такое взаимонеприятие обнаружилось в споре о том, кто правильнее штурмовал Берлин в мае 1945 года: Жуков, Конев или командующий подчиненной Жукову 8-й Гвардейской армии Василий Иванович Чуйков. Читаешь полемику уважаемых полководцев и диву даешься, как каждый норовит оттеснить соперника подальше от пьедестала, а то и вовсе сбросить его в ближайшую канаву. Подобная коллизия, возникшая вокруг взятия Киева, собственно, и послужила причиной написания этой главы.

Я люблю писателя Георгия Владимова, то, как он пишет, даже если написанное меня порой коробит, как покорило меня посвященный взятию Киева, прозрачно зашифрованному под Мырятин, роман «Генерал и его армия»⁴⁶. Также «зашифрованы» и фамилии действующих лиц, всех, за исключением Хрущева. Последнего автор откровенно не любит и столь же откровенно издевается над ним в самом же автором придуманных мелких житейских эпизодах. Тут ничего не поделаешь – насильно мил не будешь. Спорить и доказывать что-либо бесполезно, такова его авторская воля.

Концепцию романа Владимов позаимствовал, он в войне не участвовал, а, как признается сам писатель, однажды встретился с генералом Чибисовым и тот излил ему свою душу. Рассказал, как его постоянно «обижали» Ватутин с Хрущевым, какие мерзавцы генералы Москаленко и Рыбалко. В результате написалась книга о герое Чибисове-Кобрисове, у которого интриганы несправедливо-мелочно из-под носа увели победу, не позволили ему

освободить Киев-Мырятин. Вместо Чибисова-Кобрисова, заслуженного генерала, сделавшего самое трудное, пробившего брешь в неприступной немецкой обороне, когда враг уже побежал и оставалось сделать только последний рывок, командующим 38-й армией назначили выскочку Москаленко-Терещенко, единственное достоинство которого – украинская национальность. Согласно версии генерала Чибисова и автора книги, «с подачи Хрущева» наверху решили: пусть плоды русской победы пожнет украинец. Кстати, в многонациональной стране совсем немаловажно, кто освободил столицу Украины, русский или украинец.

Но вернемся к Чибисову-Кобрисову, сравним его жалобу-рассказ Владимову с объективной историей и воспоминаниями отца.

Напомню, что Хрущев предложил форсировать Днепр в районе Межигорья. После штабного анализа Ватутин согласился с отцом. Межигорье оказалось удобнейшей точкой для наступления. Через пару дней разработанный детально план доложили Сталину, получили одобрение на смену направления главного удара, стянули войска.

Наступление началось в последних числах октября 1943 года. Передовые отряды армии Чибисова-Кобрисова форсировали Днепр, захватили песчаную косу, а потом и сам пятачок Межигорья. Чибисов доложил отцу: «Заняли Вашу дачу». «Ни у кого из нас личных дач не было, – пишет отец в своих воспоминаниях, – это государственные дачи. Мы с Ватутиным решили поехать в штаб 38-й армии, к Чибисову. Он находился на порядочном удалении от плацдарма, на противоположном, левом берегу Днепра. Мы ему приказали: “Перенесите свой штаб или в Старо-Петровцы, или в Ново-Петровцы (села расположены одно за другим на правом высоком, «немецком», берегу Днепра, в притык к Межигорью), при наступлении следует держаться ближе к войскам”. “Есть”, – ответил Чибисов.

После того как Ватутин положил трубку, я засомневался: “Николай Федорович, Вы уточните, где его новая квартира?”

Перезвонили. Уточнили. Оказывается, вместо того чтобы обосноваться на плацдарме на правом берегу, он расположил свой штаб на левом берегу Днепра. Николай Федорович аж позеленел и начал ругаться.

Почему я отнесся к словам Чибисова с недоверием? Это был у нас с ним не первый такой случай. Когда в июле 1943 года мы готовились наступать на Курской дуге и подошла очередь действовать 38-й армии, мы с Ватутиным также решили поехать к Чибисову. Мы указали Чибисову точное место, где он должен разместить армейский штаб – село поблизости от переднего края.

За Чибисовым на фронте постоянно следовали жена и дочь. Он возил с собой в обозе козу или чуть ли не корову. Адъютантом у Чибисова служил его зять. Из-за семьи ему несподручно было прижиматься к переднему краю фронта. Перед выездом в 38-ю армию я попросил Ватутина уточнить, на новой ли “квартире” Чибисов?

– Да, на новой, как приказывали, – доложил Чибисов.

Мы поехали на эту новую “квартиру”. Прибыли. Село оказалось совершенно пустым. Посидели какое-то время. Смотрим, по дороге к селу едет генерал. Когда он приблизился, видим, Чибисов.

– Вы же доложили, что расположились на новой “квартире”? – набросился Ватутин на Чибисова.

– Никак нет, – не моргнув глазом, ответил тот.

Я об этом инциденте потом докладывал Сталину, но Сталин относился к Чибисову значительно терпимее, чем к другим генералам, которые и сотой доли такого не проделывали. Он знал Чибисова по обороне Царицына в 1918 году». Возвращаясь к Киевской наступательной операции.

«Приехали мы к Чибисову на хутор, – я продолжаю цитировать воспоминания отца, – и приказали ему организовать новую “квартиру” на правом берегу Днепра. Когда начнется

наступление, ему следовало находиться непосредственно в войсках. Невозможно успешно управлять войсками через Днепр». У отца на сердце скребли кошки – а что, если Чибисов провалит операцию, не возьмет Киев? Он предложил Ватутину перебросить на 38-ю армию командарма – 40-й, генерала Москаленко. Доложили Сталину, тот утвердил решение командующего фронтом.

«Фронт продолжал подготовку к броску на Киев с Лютежского плацдарма (так теперь официально именовалось Межигорье), – вспоминает отец, – перебросили сюда с Букринского плацдарма 3-ю Гвардейскую танковую армию Рыбалко. Действовал на этом участке и 5-й Гвардейский танковый корпус генерала Андрея Григорьевича Кравченко. К тому времени мы уже выбрались из Межигорской котловины на прилегающую равнину и там, на четырехкилометровом участке главного удара, сосредоточили более 1200 артстволов, включая минометы. Столь плотного сосредоточения огня мы не имели ни в Сталинграде, ни на Курской дуге. Дали, кажется, два часа на артиллерийскую подготовку с интенсивным огнем в центре. Мы хотели “прорубить окно” и ввести в него танковую армию Рыбалко. Танковый корпус Кравченко должен был, наступая на правом участке, выйти к речке Ирпень.

Итак, все готово. Командный пункт 38-й армии переместился на правый берег Днепра. Мы знали, что если командный пункт оборудует Москаленко, то он его выдвинет буквально под самый нос противнику.

Мне как-то Жуков рассказывал еще под Сталинградом: 40-я армия Москаленко находилась тогда севернее города, и Жуков поехал к нему посмотреть на подготовку к бою.

– Пришел я ночью на командный пункт по ходу сообщения. Ждем, когда на рассвете начнется наступление. – Это слова Жукова. – Рассвело. Глянул в бинокль, вижу каких-то людей. Кто это? Москаленко отвечает: “Немцы”. Я ему: “Что ж ты, такой-сякой, хочешь меня в плен немцам сдать?”

Жуков очень беспокоился и отругал Командарма: нельзя располагать штаб армии буквально под носом врага. Да, с какой-то точки зрения это плохо. Но с другой стороны, такая близость командарма вселяла уверенность в бойцов. Войска чувствовали, что командующий у них непосредственно за спиной. А самое главное, что всем ходом артиллерийской подготовки и самим наступлением Москаленко управлял не по донесениям и телефонным сообщениям, а лично видел все происходившее на поле боя.

Холодным ноябрьским утром, на рассвете, мы с Ватутиным приехали к Москаленко на командный пункт 38-й армии. Нас встретил дежурный офицер и сказал, что ближе подъезжать к линии фронта нельзя, надо идти по ходу сообщения и следует пригнуться. Пришли на командный пункт. Ватутин посмотрел на часы и приказал адъютанту дать сигнал к открытию артиллерийского огня. Загудела земля, все дрожало. Это такая, знаете ли, военная симфония. Для нас она звучала радостно. Поднялась пехота. За пехотой двинулись танки. Сопротивление враг оказывал слабенькое. Все его укрепления оказались разрушенными. На главном направлении мы всё выкосили. На третий день наступления немцев оттеснили далеко в лес, бои велись уже где-то под самим Киевом. Одновременно танки генерала Рыбалко вели наступление на Святошино, западный пригород Киева, чтобы не позволить противнику выскочить из города.

Помню, заходило солнце, стоял теплый осенний вечер. Мы с командармом вышли из землянки в бурках внакидку. Вдруг вдали раздался взрыв. В городе поднялся клуб дыма. Зная расположение Киева, я говорю: “Это немцы взрывают завод «Большевик» в западной части города, перед Святошино. Раз взрывают, значит бегут”.

Я обратился к командующему артиллерией фронта: “Товарищ Варенцов, прошу приказать артиллерии накрыть Киев беглым огнем”. Он недоуменно смотрит на меня. Знает, как я люблю этот город. Объясняю: “Если вы сейчас обстреляете город, это ускорит бегство немцев. Снаряды много не навредят. А если немцы задержатся, то они могут заложить фугасы

и нанесут Киеву значительно больше вреда”. Красная армия вступила в Киев ночью с 5 на 6 ноября. Уже после занятия Киева Москаленко рассказал мне, как он входил в город с войсками: “Ночью я шел впереди танков, освещал им фонарем шоссе и так привел их к Киеву”. Конечно, такое поведение Москаленко не вызывалось необходимостью: героизм на грани безрассудства. Но это ведь Москаленко!

Взятие Киева получилось особо торжественным, как раз накануне юбилея Октябрьской революции. Теперь говорят, что мы приурочили освобождение Киева к государственному празднику, и я ради хвастовства мог бы и согласиться. Но, честно говоря, вовсе нет. Просто так сложились обстоятельства.

Рано утром 6 ноября я послал в Киев своего шофера Александра Георгиевича Журавлева, дядю Сашу, как его называли мои дети. Я с ним ездил много лет, вплоть до моей отставки, в общей сложности 32 или 33 года. Наши войска вошли в Киев по знакомой дороге, по ней до войны мы ездили на дачу. Он поехал, как бы с дачи в Киев, быстро вернулся и говорит, что Киев абсолютно свободен от противника, да и вообще там никого нет, пусто. Людей на улицах почти не видно.

Я с представителями украинской интеллигенции – поэтом Николаем Платоновичем Бажаном, кинорежиссером Александром Петровичем Довженко и другими поехали в город. Просто нет слов, чтобы выразить радость и волнение, которые охватили меня. Проехали Подол, пригород Киева, и вот мы уже на Крещатике. Крещатик лежал в руинах. Когда мы приехали на площадь Богдана Хмельницкого, то там ряд домов еще горел. Особенно я сожалел о разрушенном здании университета, сгорела его богатейшая библиотека. А вот памятник великому поэту Тарасу Шевченко сохранился.

Город производил жуткое впечатление. Некогда большой, шумный, веселый южный город, и вдруг – никого нет! Когда мы шли по Крещатику, то отчетливо слышали собственные шаги. В пустом городе каждое сказанное слово отдавалось эхом. А может быть, нам так казалось от сильного напряжения. С Крещатика мы свернули на улицу Ленина (старое название Фундуклеевская), начали подниматься в направлении Оперного театра. Постепенно стали появляться люди, возникали прямо из-под земли. Вдруг слышим истерический крик. Бежит к нам молодой человек. Он беспрестанно повторял: “Я единственный оставшийся в живых еврей в Киеве”. Затем появился человек с седой бородой, уже немолодой. Он шел с рабочей кошелкой в руке. Когда я работал на заводе, то в такой же кошелке носил завтрак и обед. Он кинулся ко мне на шею, стал обнимать, целовать. Мы подошли к Оперному театру. Он тоже уцелел. Я вошел в здание, хотя меня и предупреждали, что театр, возможно, заминирован (противник делал нам такие подвохи). Театр оказался не заминирован. Возвратившись в штаб фронта, я составил записку Сталину. Особо отметил артиллеристов. На меня тогда сильнейшее впечатление произвела артиллерийская подготовка, с начала войны самая мощная в моем присутствии. На следующий день взял в руки центральную газету и увидел, что моя записка полностью опубликована в “Правде”»⁴⁷.

Теперь возвращусь к коллизии Чибисов-Кобрисов, Москаленко-Терещенко. Обиженных, в том числе несправедливо обиженных, командующих – множество. Взять хотя бы маршала Еременко. Отец вспоминал, как летом 1942 года, после поражения наших войск в Барвенково, под Харьковом, Сталин клещом впился в него: кто сможет остановить немцев? Кого назначить командовать фронтом, защищавшим Сталинград? Отец отговаривался незнанием высших командных кадров, он только еще осваивался в их среде. Сталин начал сам перебирать фамилии: Тимошенко Семен Константинович с его заместителем – генералом Гордовым Василием Николаевичем – это их фронт только что разгромили немцы, – не годятся. Герой обороны Москвы генерал Власов Андрей Андреевич – подходит, но его уже бросили на разблокирование окруженного врагом Ленинграда... И так далее. Наконец Сталин сделал свой выбор – выдернул из госпиталя долечивавшегося после ранения Андрея

Ивановича Еременко и бросил его в самое пекло. В Сталинграде Андрей Иванович ходил, опираясь на палку, у него нестерпимо болела нога. Еременко выстоял. Конечно, не один Еременко, но в самые страшные дни немецкого наступления именно он командовал фронтом, Сталинградским фронтом. Тогда никто в Москве не верил, что они выдюжат. Сталин звонил ему в октябре 1942 года, выпрашивал, удержатся ли они хотя бы еще пару дней? В отличие от москвичей, Еременко не сомневался – удержатся. И удержались.

Когда немцев под Сталинградом окружили и впереди замаячили лавры победителей, кому-то в Москве Еременко не потафил. Добывать окруженную в Сталинграде армию фельдмаршала Паулюса поручили не ему, а «соседу», командующему Донским фронтом генералу Константину Константиновичу Рокоссовскому. Еременко же послали отражать новое наступление, преградить дорогу немецкому генералу Манштейну, рвавшемуся на выручку к Паулюсу. Когда же он справился и с этим, его и вовсе отставили, отправили долечиваться от старой раны, полученной еще до Сталинграда. Эти издевательства происходили на глазах отца, от обиды боевой генерал чуть не плакал. Но приказ есть приказ!

Или еще такой пример. Уже после смерти отца, в 1972 году, я поселился на даче в генеральском поселке Трудовая Северная, что по Савеловской железной дороге. Соседом моим оказался прославленный танкист, маршал Михаил Ефимович Катуков. Времена стояли брежневские, соседи-генералы со мной старались особенно не общаться, даже живший напротив «сталинградец» маршал Василий Иванович Чуйков, «крестный» моего отца, сухо поздоровавшись при встрече, спешил укрыться за металлической оградой своей дачи.

Я искренне удивился, когда Михаил Ефимович как-то зазвал меня к себе. Уселись мы, как полагается, на кухне. Из холодильника появилась бутылка водки, начался разговор о жите-бытье, который, естественно, свелся к прошлой войне, а затем к былым обидам.

Из рассказа маршала Катукова запомнился такой эпизод. Во время наступления на Берлин весной 1945 года его танковая армия, 1-я Гвардейская, едва ли не лучшая в Советской армии, входила в состав 1-го Белорусского фронта. Командовал фронтом маршал Жуков, и шли они через Зееловские высоты в лоб на Берлин. Немцы оборонялись жестоко, наших солдат полегло там множество, а продвинулись с гулькиным нос.

Слева, в обход Берлина, наступал 1-й Украинский фронт маршала Ивана Степановича Конева. Сталин знал, что оба военачальника люто, до ненависти, ревнуют друг друга. Вот Сталин и устроил соревнование – Берлин поручил взять Жукову, но если Конев обойдет Жукова, то слава победителя достанется ему.

Все свои резервы Гитлер выставил против Жукова, на Конева у него сил уже не осталось. В результате 1-й Украинский фронт начал обгонять 1-й Белорусский.

– Вот тут-то Жуков и позвонил мне, – рассказывал Катуков. – Осведомился, знаю ли я, что Конев прямым ходом прет на Берлин?

– Знаю, – отвечал ему Катуков, – у него там сопротивления – тьфу, а у нас... – Что у нас, я без тебя знаю, – оборвал его Жуков. – Попридержатъ бы его, а то ненароком Берлин не нам достанется.

– У меня душа ушла в пятки, – наливая очередную рюмку, продолжал Михаил Ефимович. – Что это он хочет? Мои танки повернуть во фланг Коневу? Как я еще могу его попридержатъ? Не секрет, что армейская контрразведка – СМЕРШ все наши разговоры слушает, а тут такое... Я весь собрался и отвечаю: «Товарищ маршал, это дела уровня штаба фронта, а у меня всего лишь армия, не мне их решать». Жуков в ответ засопел, только выговорил: «Я тебе, Катуков, этого не забуду», – и трубку бросил. Берлин, как известно, мы взяли, на радостях всех командующих армиями в звании повысили, а мне – шиш. Потом всех командующих армиями выбрали депутатами Верховного Совета СССР, а от нашей армии депутатом стал мой заместитель по тылу. Так что свою главную звездочку на погоны за Берлин я

получил только уже при твоём отце. Да будет земля ему пухом! – Катуков выпил, глянул на опустевшую бутылку, я понял – пришла пора прощаться.

И такое случилось на войне, и, к сожалению, с очень уважаемыми людьми. Поэтому, в отличие от Владимирова, не берусь ни судить, ни миловать. Наверное, уравновешенный, осторожный Чибисов-Кобрисов заслужил свои награды, а жизнью своей и жизнью подчиненных, возможно, дорожил более, чем взбалмошный, рискованный, не щадивший ни себя, ни других Москаленко. И Киев бы Чибисов взял, может быть, позже на неделю, но взял.

В книге генерал Кобрисов, не пережив отставки, самовольно возвращается на фронт и глупо гибнет. В жизни Чибисова никто не отставлял, его «перебросили» командовать 3-й Ударной, а затем 1-й Ударной армией. С 1944 года его назначили начальником Военной академии имени М.В. Фрунзе, пост по тем временам маршальский. Так что на судьбу ему грех жаловаться.

С другой стороны: и Киев – не Мырятин, и генерал Чибисов – не Кобрисов, и Москаленко – не Терещенко, и Владимов – не летописец, а всего-навсего выдумщик-писатель. Какие тут еще претензии? Книга Владимирова интересная и легко читается. Какая «история» автору больше по душе, кто ему симпатичнее, ему самому выбирать. Но, несмотря ни на какие выдумки, история остается историей и относиться к ней следует с соответствующим пиететом. С другой стороны, нет в ней и одной-единственной правды, окончательного вердикта. Не судите, да не судимы будете...

Послевоенные хлопоты

С начала 1944 года отец, продолжая числиться членом Военного совета 1-го Украинского фронта, которым после смертельного ранения украинскими националистами генерала Ватутина командовали сначала Жуков, потом Конев, занялся восстановлением лежавшей в руинах Украины. Пока шла война, промышленность уцелевшей части страны работала на нее и освобожденные районы выкручивались как могли, все приходилось изобретать заново, по принципу «голь на выдумки хитра». Отец по всей республике выискивал умельцев, придумывавших, как обойтись подножными ресурсами: в строительстве, восстановлении домен и шахт, в сельском хозяйстве. И получалось. Конечно, не всё, но получалось. Потом пришла Победа. Я запомнил тот солнечный майский день, кусты цветущей сирени, пышные свечи каштанов, и отец в белом гражданском кителе и белой фуражке отправляется на Крещатик, на демонстрацию.

Летом 1946 года отец под псевдонимом генерала Петренко отправился в побежденные Германию и Австрию. Почему-то Сталин не разрешил ему в поездке пользоваться своей фамилией, хотя большинство генералов действующей армии знали отца в лицо, с одними он отступал, с другими – наступал. Поехал отец с меркантильной целью: пока остальные республики раскачиваются, постараться урвать из будущих репараций лучшие куски для Украины. И урвал. В Днепропетровске начали строительство автогиганта, туда перевозили из Германии завод, производивший шикарные «хорхи» (в ходе строительства производство переориентировали с автомобилей на тракторы и ракеты). В Киеве на радиозаводе налаживали производство магнитофонов. Магнитофоны на нас как с неба свалились. Отец вспоминал, как в предвоенные годы немецкий посол граф Шуленбург, проходя вместе с Молотовым по коридорам Наркомата иностранных дел (НКВД, ныне – МИД), заглянул в отворенную дверь и увидел сидевших в наушниках девушек-операторов, записывавших радиосообщения.

– У вас разве?.. – начал посол и осекся.

Молотов доложил о происшедшем Сталину. Долго ломали голову, что имел в виду Шуленбург. После войны стало ясно: немцы уже тогда использовали магнитофоны.

Магнитофон, вернее способ записи голоса на покрытую магнитным порошком бумажную ленту, сразу после Первой мировой войны изобрел живший в Германии австрийский инженер Фриц Майер. В 1920-е годы он продал свою идею фирме AEG, производившей различные электроприборы, которая в сотрудничестве с химическим концерном ИГ-Фабриндастриз и создала первый магнитофон с записью уже не на бумажную, а на пластиковую пленку. Этим он отличался от уже известных в то время устройств, где использовали не очень практичную стальную проволоку. В начале 1930-х годов чудо техники продемонстрировали на Берлинской радиовыставке, а с 1935 года наладили серийный выпуск магнитофонов. Правда, качество звучания годилось только для записи голоса. Устройство и использовали по такому назначению: диктовали приказы и распоряжения не стенографистке, а магнитофону, записывали радиосообщения и деловые переговоры. Вскоре магнитофоны стали незаменимым подспорьем немецкой бюрократической машины. Гитлер тоже записывал свои распоряжения на специально изготовленный для него магнитофон. В 1939 году магнитофон усовершенствовали настолько, что стало возможным записывать музыкальные произведения. После окончания Второй мировой войны магнитофоны в числе иных трофеев попали в руки победителей. 16 мая 1946 года немецкий магнитофон продемонстрировали в США, он покорила американцев чистотой звучания, и там немедленно наладили его серийное производство. И вот теперь это чудо техники решили производить в Киеве.

С магнитофонами мне не все ясно. Генерал Сергей Александрович Кондрашов, ветеран-разведчик, служивший в КГБ с 1944 года, когда я рассказал ему о случае с магнитофонами, ответил, что у них в службе магнитофоны использовались для записи радиосообщений агентов с 1939 года. Своих магнитофонов, правда, не имелось, покупали немецкие. Возможно, в НКВД магнитофоны имелись, но с соседями-дипломатами они не поделились.

В 1946-м или 1947 году появился первый украинский магнитофон «Днепр» – громадный, едва проходивший в дверь ящик, оклеенный коричневым дерматином. Демонстрировали его отцу почему-то не на заводе и не в ЦК, а во дворе резиденции на Осиевской. Светило весеннее солнце, в кустах сирени чирикали воробьи. Включили микрофон, завращались бобины размером с детские велосипедные колеса, и, о чудо, звук записался! Когда включили воспроизведение, магнитофонные воробьиные «трели» произвели на отца особое впечатление. Он загорелся желанием записать на пленку пение соловьев, благо наступало самое соловьиное время. В первый же выходной отец привез магнитофон в Межигорье – там, в заросшем кустами обрыве над Днепром и ниже, в ивняке на песчаном берегу реки, гнездились, соперничали друг с другом в пении сотни, тысячи соловьев. Весенняя ночь разрывалась от их трелей, щелчков, пересвистов. Периодически в концерт вписывался, и весьма органически, чавкающий звук землечерпалки и жалобно-призывный гудок парохода, очередной раз севшего на днепровскую мель. В те годы Киевскую ГЭС еще не построили, напротив Межигорья даже мы, дети, вброд, играючи, перебирались по мелководью с нашего берега Днепра почти до противоположного левого берега. Там весеннее половодье каждый год намывало песчаный островок – гнездовье чаек. За островок мама ходить запрещала, в узкой протоке, отделявшей его от «того» берега, нам уже с головкой. По протоке шлепали плечами колес волочившие баржи буксиры, а дважды в день, утром и вечером, проходили колесные же пассажирские красавцы. Обозначенный бакенами извилистый и мелковатый фарватер из-за быстрого днепровского течения постоянно менялся. Стоило бакенщикам зазеваться, и очередной пароход зарывался в неизвестно откуда взявшуюся мель и потом часами, ночью и днем, гудками призывал помощь.

Первый выходной – тогда отдыхали только в воскресенье – ушел у отца на подготовку операции. Он вместе с Василием Митрофановичем Божко, офицером охраны, служившим с ним еще со Сталинграда, кстати, мастером на все руки, подтягивали к обрыву провода, проверяли микрофон на дальность записи, примерялись, прилаживались. Место выбрали метрах в пятидесяти от дома на днепровской круче, в зарослях только что зазеленевших кустов. На следующей неделе началось действие: магнитофон долго приманивали на заранее отрытую, застеленную клеенкой ровную площадку наверху обрыва, затем подсоединили микрофон, протащили его в глубь кустов, насколько позволял провод, и накрепко прикрутили проволокой к ветке дерева.

Как только начало смеркаться, отец с Божко отправились в засаду, первую в жизни отца, страстного охотника, без ружья. В кустах на них набросились комары и серые весенние мошки. Две-три недели весной мошки тучами роились на склонах Днепра, спасались мы от них только на крыше дачи. В отличие от комаров, мошки высоко не залетали. Тут же, в кустах на обрыве, они чувствовали себя полными хозяевами, залезали в рукава, за воротник, набивались в уши и нос. И жалили, жалили, жалили. Места укусов тут же опухали и страшно чесались. До начала записи от мошек еще удавалось кое-как отмахиваться сорванными с кустов ветками, смачно шлепая листьями по рукам, по спине, по лицу. Но вот защелкал поблизости первый соловей, отозвался соперник, и началось, вся округа заполнилась птичьим перезвоном. Отец нажал кнопку записи и пальцем погрозил Божко: не шевелись. Мошки набросились на них, облепили руки, лицо. Теперь отец и его напарник только осторожно оттирали их с оголенных участков тела, терпели. Пытка эта продолжалась около часа.

Как только закончилась пленка, отец выключил аппаратуру, выдернул микрофонный шнур, Божко сгреб ящик в охапку, и они почти бегом бросились к дому.

Утром слушали запись: соловьи, как оперные певцы, брали высокие ноты, переливались стаккато. Их музыкальные коленца сопровождались погромыхиванием землечерпалки, пару раз слышались гудки пароходов, но на них никто не обращал внимания. Отец просто сиял от удовольствия. Он раз за разом перематывал пленку и слушал, слушал, слушал. Среди его любимых записей оперной и народной музыки соловьиный концерт занял почетное место. Отец сделал несколько «соловьиных» копий; одну, вместе с образцом нового киевского магнитофона, отослал в Москву Сталину. Магнитофонные бобины с соловьиными трелями отец хранил до самой смерти, с особым удовольствием «угощал» своими записями гостей. После его смерти, в день похорон, в числе других произвольно отобранных документов и магнитофонных лент, «Комиссия ЦК» во главе с заместителем заведующего Общим отделом ЦК Аветисяном якобы «для лучшей сохранности и в интересах истории» конфисковала и соловьиный концерт.

Из Германии отец привез еще одно чудо техники – электрическую бритву фирмы «Браун». Попробовав ее однажды, он навсегда отказался от мыла, помазка и бритвы. Брился отец сам, просить кого-то помочь в утреннем бритье ему и в голову не приходило, а времени на парикмахерскую попросту не было. Процедуру бритья отец терпеть не мог, его раздражала потеря времени, а чуть поторопишься – и тут же порежешься. Теперь же поводил три минуты жужжалкой по щекам, и все готово. Отец решил поделиться своими восторгами от новой бритвы со всеми мужчинами советской страны – экземпляр электробритвы для копирования отправили на завод в Харьков. Оттуда и пошли первые наши электробритвы «Харьков». Помню, как отец принес домой первый собранный из немецких деталей в Киеве, на заводе «Арсенал», выпускавшем ранее пушки, фотоаппарат «Контакс» со встроенным экспонометром. Фотоаппараты и раньше делали в Союзе, в Харькове, в бывшей колонии беспризорников с середины тридцатых годов выпускали ФЭДы, копию старой немецкой «Лейки». «Контакс» отличался от ФЭДа, как новейший истребитель от старенького У-2. К тому же экспонометр сам определял нужную выдержку и диафрагму. Мы тогда о таком сервисе и понятия не имели, выбирали и то и другое на глазок. Вскоре «Контакс» переименовали в «Киев».

В молодости отец увлекался фотографированием, свой первый фотоаппарат заимел еще до революции, потом в тридцатые годы приобрел немецкую «Лейку». Поэтому новенький «Киев» он изучал с особенным интересом. Вот только времени на него у отца теперь совсем не оставалось. «Киевом» завладел я, фотографировал им до конца 1950-х годов.

Еще одно воспоминание детства. Как то в воскресенье, кажется, ранним летом 1946 года, после завтрака отец предложил, как он выразился, прокатиться на Подол (приднепровский низменный, порой затоплявшийся в половодье, район Киева), на стройку, где у самой подошвы горы, за так называемым Крымским спуском, возводили экспериментальный жилой дом. Отец договорился встретиться там со строителями, они обещали рассказать, как можно дешевле и быстрее возводить дома. Украина после войны лежала в руинах, люди даже в городах жили в землянках. Отец часто практиковал воскресные выезды: то в поле, то на завод, то на стройку. В выходной день можно без оглядки на распорядок дня и напоминания секретаря об очередном посетителе, ожидавшем в приемной, расспросить специалистов, вникнуть во все детали. Он любил докапываться до сути, никогда не принимал решения вслепую. Предложение отца о «прогулке» на Подол в то утро безответно повисло в воздухе. Посещение стройки не прельстило ни маму, ни сестер, один я выразил готовность сопровождать отца. Мне, одиннадцатилетнему, естественно, не было никакого дела до новых технологий, просто очень не хотелось расставаться с отцом. В рабочие дни он возвращался, когда меня уже отправляли спать, мама строго блюла режим. Оставалось только воскресенье,

и я ценил каждую минуту общения. Отец уселся впереди, рядом с водителем дядей Сашей Журавлевым, возившим отца с довоенных московских времен. После переезда отца в Киев Александр Григорьевич, дядя Саша, так его звали не только дети, но и взрослые, последовал за ним. Отец упомянул дядю Сашу в процитированных мною выше воспоминаниях об освобождении Киева, но я не могу удержаться и не упомянуть его. Уж очень дядя Саша был приятный и душевный человек. Его любили все, и дети, и взрослые. А спроси за что? Я затруднюсь ответить, не возьмусь выделить конкретно, «за что». Правильнее всего сказать: «За все». Случаются такие люди, говоря словами Гоголя, «приятные во всех отношениях». Лучше о дяде Саше не скажешь.

Вместе с отцом они колесили до войны по полям Украины. Отец предпочитал ездить в командировки на машине, так легче увидеть, что и как вспахали, как посеяли, что взошло, что убрали, а что оставили догнивать на полях на радость мышам и птицам. В войну они на эмке⁴⁸ откатывались с отступающими войсками от западной границы к Волге, к Сталинграду, а потом вместе, уже на американском джипе «виллисе», наступали от Сталинграда до Киева. Теперь, после Победы, снова пришла пора колесить по украинским шляхам, в ведро волочить за собой пыльный шлейф, а после дождя, чертыхаясь, вытаскивать открытый «паккард» из черной и вязкой грязи.

Сегодня нам ничего такого не грозило. Дорога от дачи до Киева шла по уже мною упомянутой ранее замощенной булыжником шоссейке. Машину на ней нещадно трясло, она стонала, потрескивала, но не буксовала. Кроме дяди Саши, отца и меня в машине разместились еще двое пассажиров. На откидных стульчиках примостился один из «советчиков» отца по делам строительства Андрей Евгеньевич Страментов, рядом с ним сел начальник охраны отца Иван Михайлович Столяров. Они заняли откидушки, потому что Страментов по дороге собирался доложить отцу о своей поездке за рубеж, а Столярову по службе полагалось постоянно находиться начеку. В результате на заднем, представительском сиденье я оказался в одиночестве.

Отец познакомился со Страментовым еще в тридцатые годы в Москве. Тогда Страментов строил набережные на Москве-реке. Отцу он понравился своей хваткостью и умением вникать в суть дела. После войны он переманил Страментова в Киев, поручил ему разобраться с дорожным строительством. Дороги, вернее их отсутствие, в осеннюю распутицу превращали доставку урожая в хранилища в проблему, сравнимую по сложности со всей летней страдой. Об асфальте в первые послевоенные годы и не мечтали. Для строительства сотен километров дорог требовалась специальная техника, которой не было и в помине. Страментов только что вернулся из командировки в Западную Европу, и отцу не терпелось расспросить его. Разговор начался еще на даче, но не с дорог, а... с подсолнуха. Там, в прихожей, в углу на столе стояла глиняная расписная украинская ваза. Входя в дом, Страментов взглянул на нее и, обращаясь к маме, сказал, что с вазой очень хорошо сочетался бы подсолнух. Мама поразилась – на Украине подсолнух за цветок не почитали, его место на огороде, а не в хате, да еще в вазе. Засмущавшись, гость пояснил, что такое он видел в Швеции, и ему понравилось: одинокий подсолнух в вазе смотрится элегантно. Мама недовольно хмыкнула, а потом еще не раз неодобрительно поминала и подсолнух, и Страментова с его декадентским, «шведским» вкусом.

Мое мнение совпадало с маминым: какое из подсолнуха украшение, другое дело – огромные, как куст, букеты сирени вперемешку с тюльпанами. Размером и пышностью букета в те годы на Украине определялась степень уважения к гостю. Через много лет, уже поездив по миру, мама вспоминала, какой необъятный букет она вручила на вокзале Йованке Броз, жене президента Югославии Иосипа Броз Тито, в мае 1945 года, когда они, возвращаясь из Москвы домой, остановились на пару дней в Киеве. Сирень для букета наломали в саду резиденции на Осиевской, там же срезали и тюльпаны. Букет почти скрыл лицо гостыи,

она не знала, что же с ним делать, и только подоспевший адъютант Тито разрядил обстановку, унес цветы подальше, в вагон.

– В мире принято дарить два-три цветочка, а не охапку, – сокрушалась мама, – мы же, от щедрого сердца, считали – чем больше, тем лучше.

Отца тема подсолнуха не заинтересовала, он вообще не обратил внимания на слова Страментова, пожал ему руку и сказал, что пора ехать. Так что к делу перешли только в машине: Страментов рассказал отцу, что за границей он видел набор дорожных американских машин, одни подвозят горячий асфальт со специальных передвижных заводов, другие разравнивают, третьи укатывают, и дорога готова. Отец загорелся: и нам бы такое! Он попросил Страментова пригласить к нему на следующей неделе представителя ЮНРРА на Украине Маршалла Макдаффи. Поясню, кто он такой, чем занимался в Киеве.

Сразу после войны на Украину и в соседнюю Белоруссию приехали представители ЮНРРА⁴⁹. На Украине и в Белоруссии (с представительством в Киеве) миссию возглавлял американец Маршалл Макдаффи. Поначалу имя его Маршалл приняли за военное звание, но быстро разобрались, отец даже пошутил с гостем по этому поводу при первом знакомстве. Маршалл Макдаффи неоднократно посещал Хрущева официально, встречался с ним и в неофициальной обстановке. Он объяснил отцу, что на выделенную ООН сумму можно заказать или продовольствие, или строительные и сельскохозяйственные машины. Решать ему.

Отец отдавал предпочтение машинам. Он рассуждал просто: продовольствие съедят и ничего не останется, Америка нас вечно кормить не станет. Американских тракторов и комбайнов на всю Украину тоже не хватит, да мы и сами научились их делать. Надо брать то, чего у нас нет. Первым делом он попросил поставить на Украину трубы для газопровода. В Карпатах, в Дашаве, добывали газ и использовали его в домашних газовых плитах. Отец хотел, чтобы, как в Западной Украине, и у киевлян появился в домах газ.

Макдаффи сказал, что трубы они поставят, и слово свое сдержал: Украина получила не только газовые трубы полуметрового диаметра, но и траншеекопатели, трубоукладчики и даже машину, заворачивающую трубу перед укладкой в землю в специальную промасленную бумажную ленту. О такой технологии в Советском Союзе и не слыхивали. На сооружавшемся по специальному приказу Сталина газопроводе Саратов – Москва⁵⁰, вступившем в строй 11 июня 1946 года, трубы вручную обмазывали горячим битумом. С поступивших на Украину американских машин сняли чертежи и еще много лет выпускали их копии на советских заводах. Впечатленный упомянутым выше рассказом Страментова отец попросил Макдаффи помочь дорожными машинами. Американская техника не только обеспечила строительство настоящих, не проселочных дорог на Украине, но и послужила подспорьем при проектировании собственных моделей.

Я писал, как еще в тридцатые годы отец заинтересовался американской чудо-сеялкой-сажалкой, опускавшей в землю картошку или семена, какие хотите: кукурузы ли, сахарной свеклы или хлопчатника, строго по углам квадрата так, что можно их рыхлить-полоть трактором с прицепом не только вдоль поля по ходу сеялки, но и поперек.

Тогда помешала война, а теперь появилась реальная возможность заполучить заморскую диковинку в руки, испытать ее на поле, скопировать и запустить в производство.

Квадратно-гнездовая сеялка-сажалка сулила революцию в сельском хозяйстве. В отсутствие гербицидов и инсектицидов сорняки и вредители продолжали одолевать поля Украины.

Высадка растений по углам квадрата не избавляла от долгоносиков, но кардинально облегчала борьбу с сорняками. Внедрить «квадрат» на Украине уже однажды попытались своими силами. Начали с сахарной свеклы, вручную размечали поля бечевками, сделали специальные сажалки-хлопушки, за один хлоп отмерявшие нужную толику семян. Но много

ли так насаждаешь, когда счет идет на миллионы гектаров? Теперь отец и надеялся на американскую помощь, и не напрасно. Макдаффи не подвел, привез заокеанские квадратно-гнездовые сеялки. Приступили к их освоению в наших, советских сельскохозяйственных реалиях. Шло все очень непросто, я еще остановлюсь на том, как все происходило.

Кроме всего прочего, Макдаффи оказался первым американцем, с которым отцу довелось не просто познакомиться и пообщаться, но и заняться настоящими делами. Заокеанский гость отцу понравился, но знакомство продолжалось недолго, началась холодная война, представительство ЮНРРА в Киеве закрылось, и Макдаффи уехал за океан.

Однако пора вернуться к разговору отца со Страментовым по пути на Подол. Страментов покончил с дорогами и теперь с увлечением рассказывал, как на Западе, в основном в Америке, строят дома из монолитного бетона: строго по минутам машины, оборудованные специальными вращающимися емкостями, подвозят раствор, перегружают его в бадьи, краны поднимают бадьи на верхотуру и там заливают бетон в уже подготовленную опалубку. И так этаж за этажом, четко, как на заводском конвейере. Отец слушал внимательно, не перебивая и не задавая вопросов, но без особого интереса.

– Любопытно, – протянул он по окончании рассказа, – вот только к нам абсолютно неприменимо: бетона нет, его не хватает даже на восстановление домен и Днепрогэса, машин-бетоновозов тоже нет, замешивать его придется тут же на стройплощадке. И кранов у нас раз-два и обчелся, кирпич строители таскают на стены по-старому на закорках, на козле, как муравьи. Да и вообще весь этот хронометраж не для нас, то с одним запоздают, то другое потеряют.

Страментов согласился – пока американские чудеса звучат сказкой, но придет время...

– Когда оно еще настанет, – перебил его отец, – нам надо строить сейчас из того, что имеется под руками.

За разговорами проехали Пущу-Водицу. Со стороны Межигорья артиллерия во время наступления на Киев выбила сосновый лес почти начисто. Деревья сохранились только ближе к Вышгороду. Въехали в пригород, миновали Бабий Яр, и сразу за Крымским спуском свернули вправо, здесь у подошвы горы строили экспериментальный четырехэтажный жилой дом, по меркам тех лет – высотку. На стройке отца поджидали инженеры-изобретатели, тут же суетилось городское начальство. У самой стены дома, на расчищенной от мусора площадке, развернули импровизированную выставку. Я, конечно, запомнил далеко не все. Детская память избирательна. Один из изобретателей предлагал складывать куски стен из кирпичей на земле и поднимать наверх целыми блоками. Отец к кирпичным блокам отнесся довольно равнодушно, экономии сил и времени это предложение давало, как он выразился, «чепуховую», а доставлять блоки на этажи придется краном, которого пока нет. Однако мысль уйти от кирпичей к чему-то более крупному в память ему, наверное, запала.

Другая новинка – листы сухой гипсовой штукатурки, ровные и белые, как ватманский лист бумаги. Настоящее чудо, избавлявшее строителей от изнурительного обляпывания стен раствором и затем бесконечного заглаживания бесконечных же выбоин и опупин. Гипсовая панель отцу очень понравилась, он дотошно расспрашивал автора, не раскрошится ли она при транспортировке и, главное, не напитается ли гипс влагой, «не растает ли»? Автор изобретения отвечал исчерпывающе, говорил по существу, кратко, не рассусоливая. Отец удовлетворенно хмыкал и наконец дал добро: «После окончания испытаний приступить к производству гипсовых панелей взамен штукатурки».

Рядом стоял еще один макет кирпичной стены, но не целиковый, как обычно, а весь в пустотах, заполненных печным угольным шлаком. Кирпичей на Украине катастрофически не хватало, их экономили, а заодно находили применение шлаку из многочисленных городских котельных. Новую технологию кирпичной кладки рискнули внедрить лишь на строительстве двух-трехэтажных домов, стены получались уж очень хлипкими.

Затем отца подвели к стенду керамического завода. Его заполняли светло-желтые, розовые, коричневые облицовочные плитки, гладкие и с рельефными узорами. Докладывал молодой человек, изобретатель нового метода облицовки домов, по фамилии Абрамович, имя и отчество его сейчас не припомню. Он увлеченно и уверенно рисовал картину, как его плитки избавят строителей от штукатурки фасадов, сэкономят труд, время и одновременно сделают дома во сто крат наряднее. Плитки Абрамовича решили испытать при облицовке домов, строившихся на Крещатике. На дачу со строительной выставки мы вернулись только к вечеру. В машине отец продолжал обсуждать со Страментовым какие-то дела, я их уже не слушал, задремал.

Через некоторое время, летом или ранней осенью, отец, собираясь в очередной раз посмотреть, как продвигается восстановление Крещатика, позвал меня с собой. На сей раз день был будний, отец послал за мной машину домой, на Осиевскую, сам он, как всегда, работал в нависающем над днепровской кручей сером полукруглом здании Совета Министров.

Я зашел к нему в кабинет, расположенный, наверное, этаже на шестом. Раньше там мне бывать не приходилось. Из окна открывался вид на Днепр, на заросший ивняком Труханов остров, а дальше до самого горизонта стелились поля равнинного левобережья. Я с любопытством озирался по сторонам: большой, заваленный бумагами, письменный стол, на стене портрет Сталина в казенной коричневой деревянной рамке, сбоку у глухой стены – длинный затянутый стандартным зеленым сукном стол для заседаний. Рядом, в углу, целая выставка: там и уже знакомые мне облицовочные керамические плитки, и куски сухой штукатурки, и полые кирпичи, и многое другое. Отец любил похвалиться техническими достижениям украинских умельцев перед заезжими гостями и постоянно обновлял экспозицию. Долго осматриваться отец мне не дал, дочитал какой-то документ, встал из-за стола, и мы поехали на Крещатик.

Крещатик назван в честь крещения, здесь вдоль ручья, протекавшего по глубокой котловине, князь Владимир и его дружина гнали язычников-киевлян в Днепр обращать в новую, христианскую веру.

До войны Крещатик ничем не отличался от центральных улиц других российских губернских городов: мощеная булыгой узкая проезжая часть, вдоль нее двухэтажные, льнувшие друг к другу, дома и домишки, лишь кое-где среди них – «небоскребы» в пять-шесть этажей. В середине 1930-х годов Крещатик решили реконструировать, расширить и застроить современными зданиями, на манер улицы Горького (Тверской) в Москве. Из задуманного успели возвести только облицованный гранитом красавец-универмаг. Его открыли накануне войны, в июне 1941 года.

Теперь Крещатик лежал в руинах. Универмаг же чудом уцелел, сохранились и еще кое-какие здания, но улица как таковая перестала существовать. Даже проезжая часть стала непроезжей из-за наваленных груд мусора. Его к тому времени кое-как разгребли, пустили движение в один ряд и теперь раздумывали, как восстановить, вернее, отстроить новый Крещатик.

Кто взорвал или разрушил иным образом дома на Крещатике – загадка. Не смог разгадать ее и отец, несмотря на его высокое положение, открывавшее в послевоенное время доступ к любым архивам, несмотря на второе, после командующего, место в командной иерархии фронта, оборонявшего Киев, несмотря на то, что все нити партизанского движения на Украине стекались к нему.

«Я так и не смог разобраться, кто взрывал дома на Крещатике. Его разрушили еще в 1941 году, вскоре после прихода немцев. Они говорили жителям, что это проделки партизан. Я не знаю – мы таких заданий партизанам не давали. Думаю, все это проделки гестаповцев, их не волновал ни город, ни судьба людей, в их интересах возбуждать гнев населе-

ния против партизан, склонять тем самым людей к сотрудничеству. Но кто знает? Трудно сказать»⁵¹.

Так до сих пор никто и не знает. Партизанам взорвать дома вдоль целой улицы не по силам, для этого требуется незаметно пронести огромное количество, много тонн взрывчатки. Такого не случалось ни в одном из оккупированных немцами городов. Штаб, склад боеприпасов, железнодорожные пути – да, бывало, но целую улицу? И зачем?

Отступавшие советские войска тоже не успевали этого сделать. Сталин, несмотря на все мольбы командования Юго-Западного фронта и Генерального штаба оставить Киев и тем самым избежать окружения, приказал стоять насмерть. Сталин запретил сдачу города, а значит, и уничтожение его объектов. Взорвать не успели даже завод «Большевик», не то что Крещатик.

Я помню, как рефреном «Киев – был, есть и будет советским!» – завершались все выпуски новостей и в газетах, и по радио, проводному, конечно. Так продолжалось до тех пор, пока в сентябре немцы не прорвались с фланга, захватили Киев и пленили более шестисот тысяч наших солдат. А уж сколько оборонявшихся перебили, одному Богу известно. Тогда погибли, в числе многих тысяч других, командующий фронтом генерал-полковник Михаил Петрович Кирпонос, заместитель отца по Украинскому ЦК Михаил Алексеевич Бурмистренко, а уцелевшие генералы, такие, как будущий герой взятия Киева и будущий маршал Москаленко или будущий предатель, а тогда герой обороны Киева генерал Власов, еще долго пробирались к линии фронта – кто с бойцами, кто в одиночку, переодевшись в крестьянские «свитки».

Я подумал, не взрывали ли Крещатик радиоуправляемыми минами легендарного Ильи Старинова? Известно, что с их помощью уничтожили несколько важных объектов в оккупированном немцами Харькове. Но это произошло уже много позднее, в октябре 1941 года, когда немцы захватили уже почти всю Украину. Тридцатью радиоминами предполагалось «оборудовать» штаб Харьковского военного округа, важнейшие заводы и другие значимые объекты. Обычными, не радио, минами собирались усеять подходы к Харькову, его пригороды, осуществить тем самым первую с советской стороны операцию по массированному минированию путей наступающих немецких дивизий. Жилые дома на центральной улице Харькова не минировали, военного значения они не имели, да и проживавших в них людей девать некуда. Когда в соответствии с заведенным порядком полковник Старинов представлялся первому члену Военного совета Юго-Западного фронта Хрущеву, доложил и о радиоминах, и об объектах, намеченных к минированию. Отец живо заинтересовался новинкой. Дальше я приведу рассказ Старинова.

– Давайте поставим радиомину и в доме, где я живу (№ 17 по улице Дзержинского, его построили когда-то для Косиора, секретаря ЦК КП(б) У), – предложил он. – Дом видный, наверняка и у немцев его облюбует какая-нибудь «шишка», вдруг сам командующий группой армий. Вот мы его и рванем.

– Никита Сергеевич, я сам эти радиомины только осваиваю, они еще не обкатаны, могут неожиданно рвануть без всякого радиосигнала, разнесут вас самого в клочья, – отговаривал Хрущева Старинов.

– На войне мы все под Богом ходим, товарищ полковник, и я, и вы, давайте рискнем, – Хрущев твердо стоял на своем.

Приказ есть приказ. Старинову оставалось только подчиниться. 12 октября 1941 года подчиненная ему группа саперов приступила к минированию. Сам радиофугас закопали глубоко под котельной, тщательно замаскировали, а сверху в куче угля для отвода глаз поставили тоже очень современную мину замедленного действия. Дальше все шло как по писаному: 24 октября немцы вошли в Харьков, 8 ноября их саперы обнаружили в подвале дома № 17 по улице Дзержинского мину-ловушку, через пару дней в него въехал, к сожалению, не

командующий группой немецких армий, а «всего лишь» начальник Харьковского гарнизона генерал Георг фон Браун.

14 ноября в 3 часа 15 минут утра Старинов из соседнего с Харьковом Воронежа послал радиосигнал на подрыв своих фугасов. Мины сработали с большим эффектом, в том числе в доме № 17 по улице Дзержинского погиб генерал фон Браун. Когда Хрущеву доложили о результате операции, он остался очень доволен, особенно тем, что был уничтожен фон Браун.

Бывал ли Старинов в Киеве? Он пишет, что бывал. С 1 августа 1941 года, за месяц до захвата Киева немцами, Старинов и еще четыре инструктора-подрывника учили в Пушче-Водице будущих украинских партизан своим премудростям, а затем в середине августа, еще до того, как западня захлопнулась, отбыли в Белоруссию, и оттуда – в Орел⁵². Однако в августе радиомин в распоряжении у Старинова не имелось. Теоретически их могли привезти в Киев и без Старинова. Теоретически... Практически же сведения такие отсутствуют, и, повторяю, использовали драгоценные радиомины только для подрыва наиважнейших объектов, а их вместе с Киевом сдали немцам невредимыми.

После обретения независимости на Украине стало модно во всех «грехах» винить «москалей». Ставят им в вину и разрушение Крещатика. Конечно, «москальи» при отступлении с удовольствием бы его разрушили, обе воюющие стороны, и советская, и немецкая, исповедовали тактику выжженной земли, в том числе и собственной. Могли бы разрушить, но, как свидетельствуют доступные мне сведения, не смогли. Взорванный Крещатик, скорее всего, на совести немцев.

Однако кто бы ни уничтожил Крещатик, восстанавливать его выпало отцу. Отец же задался целью не воссоздавать старое, а, несмотря на разруху, сделать центральный киевский проспект таким, чтобы не краснеть перед потомками. Руководили всеми работами по восстановлению Крещатика главный архитектор Киева Александр Васильевич Власов и старый знакомый отца, выдающийся строитель Николай Константинович Проскураков.

В 1936 году отец, наслышанный о Проскуракове как о «мостовике», показавшем себя на строительстве Днепрогэса, пригласил его строить мосты в Москву. За два года в Москве построили два Каменных моста, Большой и Малый, оба Краснохолмских (над Москвой-рекой и водоотводным каналом), Крымский, Москворецкий, Чугунный, Устьинский, реконструировали Новоспасский мост, построили два путепровода у Рижского вокзала. Работы завершились в 1938 году, уже после отъезда отца в Киев, но оценить хваткость и организационные таланты Проскуракова он имел достаточно времени.

Поэтому сразу после освобождения Киева он попросил Москву отозвать Проскуракова из армии и направить в Киев восстанавливать взорванные немцами мосты через Днепр. Годом позже отец взвалил на его плечи организационные хлопоты по возрождению Крещатика.

Улицу расширили, заасфальтировали, теперь автомобили могли не только обгонять друг друга, но и свободно двигаться в каждом направлении в два ряда. В годы, когда каждая проезжающая машина привлекали внимание, такое казалось ненужной роскошью. На переходах, на разделительной полосе поставили массивные гранитные тумбы с гранитными же шарами наверху, первые в советской практике островки безопасности для пешеходов. Над ними тоже немало потешались. Тумбы прозвали убийцами водителей. Страментов предложил вдоль всего Крещатика проложить облицованный кирпичом подземный туннель – коллектор для городских коммуникаций. Тогда отпадет необходимость вскрывать мостовую, рыть ямы. При дефиците кирпича закапывание его в землю многим казалось транжирством, да и не строили никогда таких коллекторов в Советском Союзе. Киев стал первым и на несколько лет единственным примером рационального подхода к городскому хозяйству. Довоенные узкие тротуары с одной стороны Крещатика просто расширили, а с другой –

превратили в многорядную пешеходную зону с аллеями, обсаженными, по настоянию отца, киевскими каштанами и московскими рябинами. Дома-высотки в восемь – девять этажей с этой стороны убрали подальше от улицы, вынесли на обрамляющий Крещатик пригорок, их фасады щедро разукрасили керамикой Абрамовича с украинским мозаичным орнаментом. Этот проект архитектора Власова вызвал ожесточенную критику, особенно орнаментальная отделка домов. Их сравнивали с безвкусными кремовыми свадебными тортами, насмеялись над автором-архитектором, а заодно над отцом. В те годы «передовые» умы отошли от модного до войны конструктивизма, домов-кубиков из бетона и стекла, следовали тяжеловесным канонам сталинского неоклассицизма. А тут цветочки-завиточки. Критика застройки Крещатика расстраивала отца, ему самому нравилось, но... Отец пошел со своими сомнениями к старому знакомому, корифею архитектуры, академику Алексею Викторовичу Щусеву. Тот сказал, что такое отношение к новострою бытовало всегда: «Современникам архитектор никогда не угодит, признание приходит после смерти. И вообще все это дело вкуса, одним нравится одно, другим – другое». Ему же самому Крещатик понравился. «Первые четверть века новое в архитектуре охаивают, через полвека – привыкают, а через сто лет – объявляют классикой», – добавил Щусев.

Его слова успокоили отца, но не до конца. Сомнения в выборе Власова и его собственном выборе оставались еще долго. Одно утешало: Крещатик больше не заштатная губернская улица.

Современный Крещатик мне чем-то напоминает парижские бульвары: каштаны разрослись и скрыли ошестинившиеся горизонтальными сетками-ловушками нижние этажи домов. Абрамовичевские плитки с годами демонстрировали все возрастающее коварство, под действием морозов и дождей то и дело отлетали от стен и падали на головы прохожих. Они стали настоящим бедствием, и впоследствии от них пришлось отказаться.

А вот еще одна поездка с отцом. Теперь на Ирпенскую пойму весной 1947 года. Ирпень – заболоченная речушка вверх по Днепру от Киева. Я вскользь упомянул его в рассказе о штурме Киева. Отец задумал наладить в пойме выращивание овощей для киевлян. Все последующие годы он в Киеве, а затем в Москве, стремился переориентировать близлежащие села с выращивания зерновых культур на овощные, требовал создавать мощные специализированные пригородные овощеводческие хозяйства. Экономически овощной уклон очень выгоден, но и труда огурцы с помидорами требуют больше, чем овес с рожью. Благие инициативы отца натывались на мягкое, но упорное сопротивление не заинтересованных в результатах своего труда производителей. И это при том, что на приусадебных участках крестьян огородничество процветало.

Вот и сейчас на Ирпень мы приехали солнечным, но еще прохладным воскресным апрельским утром. Снег сошел только недавно. Отец в своей любимой коричневой кожаной куртке, окруженный толпой агрономов, мелиораторов и просто местных начальников, выхаживал по бурой траве торфянистой поймы, отмерял что-то шагами, выспрашивал, где пройдут оросительные каналы, тут же в уме подсчитывал будущий урожай и соотносил его с потребностями Киева. Получалось, если взяться за дело с умом, то у горожан проблем с овощами вскоре не будет. Я увязался за отцом по привычке и теперь уныло следовал за ним. Если на стройке я еще находил некоторый интерес, то в этой серой равнине меня не прельщало ничто. Разве что дымящаяся почва. По весне подсохшие торфяники регулярно загорались, их не тушили, ждали дождь, чтобы загасли сами. Меня предупредили не подходить близко, выгоревшая почва может провалиться, и тогда... Испуганный, я жался к окружавшей отца толпе.

Наконец, договорившись обо всем, продрогший на весеннем сквозняке, отец направился к машине.

С ирпенской затеей получилось не очень складно. Пока отец оставался в Киеве, он ее подталкивал и все потихоньку делалось. Через пару лет, в 1949 году, он уехал в Москву. Ирпень не то что захирел, но и не стал той овощной кладовой Киева, которая виделась отцу. Так происходило не раз: только перестаешь продвигать, казалось бы, нужную всем идею, как она тут же заглохнет в бюрократических дебрях, как на неухоженном поле пропадает в зарослях сорняков кукуруза.

Так проявляется в нашей жизни основополагающий закон мироздания, второй закон термодинамики, объясняющий одну из сущностей природы: пока кто-то подкачивает извне энергию в физическую или иную систему, ее структура упорядочивается, устанавливается порядок. Стоит перестать качать энергию, и тут же нарастает энтропия, проще говоря, – беспорядок. Наступает хаос. Так происходит в мире молекул и атомов: стоит ослабить удерживающие их вместе силы, и они разлетятся прочь. Так разрушаются оставленные жителями на произвол судьбы древние города. Так зарастают бурьяном невозделываемые поля. И в человеческом сообществе, стоит пустить дело на самотек, и все идет враздрай, пока не успокоится в хаосе абсолютной безынициативности.

Весенний сквозняк не прошел отцу даром, он простудился. Простуда перешла в воспаление легких, отец слег. Врачи предпринимали все, что могли, но ему становилось все хуже. Отец уже еле дышал, в ход пошли кислородные подушки. В доме стояла настороженная тишина. У постели, вместе с мамой, неотступно дежурил врач. Местные профессора и специально приехавшие из Москвы светила (мне запомнились профессора Губергриц, Вовси, Зеленин), выходя из спальни отца, сокрушенно покачивали головами. Мама ходила бледная, потерянная. Я старался при любой возможности пробраться к отцу, но удавалось мне это не всегда, мама не пускала меня дальше дверей, беспокоилась, чтобы еще и я не подхватил какой-либо микроб. Она, конечно, знала, что воспаление легких не заразно, но береженого Бог бережет. Я запомнил неподвижное серое лицо отца, хриплое с присвистом дыхание и неузнающий взгляд.

Беда не приходит одна. Той же весной Сталин обвинил отца в мягкотелости по отношению к крестьянам (я еще вернусь к этой истории) и в марте 1947 года направил в Киев «на усиление руководства» Кагановича. Приказал ему навести в республике порядок. Отца сместили с поста первого секретаря ЦК Компартии Украины, его место занял Каганович. Отец пока оставался главой украинского Правительства. Пока... Каганович с первого дня начал устанавливать свои порядки, развернул борьбу с мелкой вспашкой, озимой пшеницей, украинскими националистами. Он часто появлялся на людях, ездил по области, выступал. Отец же как в воду канул. Поползли слухи, что он арестован или его вот-вот его арестуют. К середине июня отец пришел в себя, но на работу не вышел, врачи настаивали на отпуске. Последний раз он отдыхал еще до войны, так давно, что и сам почти не помнил когда. От отпуска отец категорически отказался, дел неуворот, да и чрезмерная активность Кагановича беспокоила его не на шутку. Дело дошло до Сталина, он позвонил в Киев и настоятельно порекомендовал отцу поправить здоровье. Заботливость Сталина отца не порадовала, он помнил, как последний в его присутствии в 1930-е годы звонил Павлу Петровичу Постышеву, тоже впадшему в опалу члену Политбюро, расспрашивал о самочувствии, советовал беречь себя. И, положив трубку, тут же распорядился об его аресте. Но со Сталиным не поспоришь, отцу пришлось подчиниться. Мы всей семьей отправились на Рижское взморье, в Майори. Отец быстро окреп. В августе открылась утиная охота, и он зачастил с ружьем на соседние болота. Ему не сиделось на месте, и он решил слетать в Калининград. Отца туда настойчиво зазывали старые фронтовые друзья-генералы. С собой он взял меня и мою старшую сестру Радугу. Мама с младшими дочерьми осталась на взморье, в самолете ее сильно укачивало. Кенигсберг, тогда к новому названию Калининград еще не привыкли, встретил нас морозящим холодным дождем и привычной по Украине послевоенной разрухой – короб-

ками разбитых артиллерией кирпичных домов, улицами, ведущими из ниоткуда в никуда. Вот только разрушения выглядели помасштабнее киевских, советские войска штурмовали немецкий город-крепость не одну неделю.

На аэродроме нас встретили генералы (фамилий их я уже не помню), провезли по центру города, вернее, по тому, что от него осталось, а там не сохранилось ни одного нестершего здания, свозили к королевскому замку, на могилу Иммануила Канта и в янтарный карьер. Мне запомнился карьер. Такую огромную яму в земле я видел впервые. В глубине котлована водяные пушки струями воды размывали голубоватую глину, просеивали ее на специальных грохотах, вылавливали всплывавшие на поверхность золотистые кусочки застывшей смолы, янтарь с застывшими внутри мушками, комарами, веточками растений. В местном краеведческом музее, туда мы отправились после осмотра карьера, подобных диловин имелось в изобилии. Там же, в здании музея, для отца устроили выставку достижений немецких химиков, научившихся во время войны воспроизводить в своих лабораториях эрзацы ставших недоступными естественных продуктов: каучука, машинных масел, тканей и множества других нужных людям вещей. Янтарь отца не очень заинтересовал, а от продукции химиков он пришел в восторг.

Во время войны в Советском Союзе вдоволь наиздевались над немецкими эрзацами – ничего-то нет у них настоящего, одни заменители: эрзац-бензин, эрзац-валенки. Последнее особенно пришлось по вкусу карикатуристам. Газеты пестрели рисунками «фрицев» с застывшей каплей на носу и в огромных валенках из соломы. Тут же нам показали не эрзац, а фирменные чудеса. Из бурого угля, а в нашей стране его и за уголь не считали, получали какую-то прозрачную жидкость, и вот она уже превращается в тончайшую нить, а нить в кусок ткани, настоящей, ничуть не хуже хлопковой и даже шелковой.

Отцу подарили большой деревянный ящик, в нем в специальных гнездах лежали кусочки угля, пробирки с жидкостью, образцы нитей и тканей, отражавшие все стадии преобразования невзрачных бурых комочков в разноцветье дамских нарядов. Именно в Кенигсберге в 1947 году отец впервые воочию убедился в чудотворных возможностях химии. Он ничего не забывал, впитывал в себя новые сведения, затем хранил их, иногда годами, «до востребования». Я тоже получил подарок от химиков – две больших катушки крепчайшей и к тому же прозрачной, невидимой для рыбы, лески – несметное богатство по тем временам. Расходовал я ее настолько экономно, что кое-что у меня сохранилось до сих пор.

Прилетев в Ригу, отец засобирался домой, ему – время выходить на работу, а нам – в школу. В Киев мы вернулись в последние дни августа. По возвращении домой отец продемонстрировал немецкие достижения местным ученым, но без особых последствий, время большой химии еще не наступило.

Опять Москва

В конце 1949 года жизнь наша резко переменилась, отец сообщил, что мы переезжаем в Москву. Для отца это решение Сталина оказалось еще неожиданной, чем для нас, и, несмотря на то что в 1947 году все обошлось, оно вселило в его душу новую тревогу. Тогда любые перемены в судьбах людей, особенно высокопоставленных, вселяли тревогу. Сталин разыскал отца во Львове, его вызвали к телефону во время выступления на собрании студентов местного Политехнического института. Передали записку с просьбой позвонить «самому». Ничего не объясняя, Сталин спросил, когда отец может прилететь в Москву.

– Если срочно, то завтра, – ответил отец.

– Хорошо, приезжайте, – Сталин положил трубку.

Сталин нередко так поступал перед расправой с очередной жертвой: неожиданный вызов в Москву, а там... Несколько успокоил отца разговор с Маленковым, он отзвонил ему сразу после разговора со Сталиным. Маленков заверил, что оснований для волнений нет.

Не знаю, успокоили ли его слова отца или еще более обеспокоили, время-то вновь наступало непредсказуемое. Набирало обороты «Ленинградское дело». 13 августа арестовали Алексея Александровича Кузнецова, а совсем недавно Сталин называл его своим преемником в качестве главы Коммунистической партии. 27 октября арестовали председателя Госплана Николая Алексеевича Вознесенского, еще одного сталинского фаворита. Так что беспокоиться было о чем.

Во Львов отца привело убийство западноукраинского публициста и писателя Ярослава Галана, ратовавшего за объединение всех украинцев в Советской Украине и яростного противника националистического подполья – бандеровцев. Степан Бандера, сын священника, бывший студент Львовского политехнического института, боролся за украинскую независимость со всеми. Пока Западная Украина входила в состав Польши – с поляками, за что они его посадили в тюрьму. Откуда его выпустили советские войска, вошедшие в 1939 году во Львов. Он тут же начал воевать против своих освободителей, ради чего вступил в союз с Гитлером. К началу войны Бандера стал одним из организаторов Украинской дивизии СС «Нахтигаль» (соловей). Не получив обещанной немцами независимости, Бандера повернул оружие против них. В 1944 году, после освобождения Западной Украины от немцев, возобновил войну с Советской армией, с новой украинской властью, с лояльными ей украинцами, со всеми, кто не с ним. А с ним оставались многие, если не сказать большинство западно-украинского населения, и в селах, и в городах. Поначалу в прикарпатских лесах прятались целые вооруженные отряды. Когда их разгромили, тактика борьбы изменилась, бандеровцы разошлись по селам. Днем они мирно трудились на полях, а ночью доставали из схронов оружие и убивали «продавшихся москалям» соседей, советских солдат, местных администраторов, просто неосторожных путников. Потери с обеих сторон были огромны: до двадцати тысяч советских военнослужащих и пятьдесят тысяч гражданских лиц и примерно столько же со стороны бандеровцев. Настоящая война.

Теперь в центре Львова, в собственной квартире, убили Галана, его зарубил топором боевик подполья, представившийся студентом Лесотехнического института. Так же, как Рамон Меркадер в 1940 году зарубил Льва Троцкого. Как и Меркадер, убийца завоевал доверие Галана, стал вхож в дом и, уловив момент, раскроил писателю череп.

Резонанс это убийство вызвало огромный, хотя в прессе, естественно, не появилось никаких деталей. Отец поехал во Львов разобраться. В этих условиях приказ Сталина не вселял оптимизма.

К счастью, все обошлось. Сталин встретил отца милостиво, предложил ему переехать в Москву, снова возглавить Московскую партийную организацию. «Ленинградское дело» не

на шутку испугало дряхлеющего вождя. Он почти поверил, что и Кузнецов, и Вознесенский, и другие покушаются на его власть, да и на него самого. Теперь, после получения анонимного доноса на секретаря Московского комитета партии Г.М. Попова, Сталин боялся появления новых врагов уже в Москве⁵³. Во главе столичной власти он хотел иметь доверенного человека. Выбор пал на отца, Сталин ему верил, по крайней мере больше, чем другим. В такой ситуации самое легкое и «естественное» – понять намек, исполнить не высказанный прямо приказ, поступить так, как до отца поступали другие. Но москвичам повезло, улучив момент, отец доложил «хозяину», что донос ложный. Сталин не настаивал, и несостоявшееся «московское дело» сдали в архив.

Свое особое расположение к отцу он продемонстрировал буквально на следующий день после появления отца в Москве, 21 декабря 1949 года, в вечер празднования собственного семидесятилетия усадил его в президиуме торжественного собрания, проходившего в Большом театре, от себя по правую руку. Слева от Сталина сидел Мао Цзэдун.

Пришла пора и нам прощаться с Межигорьем и с Осиевской. Переезд в Москву мама назначила на первую неделю января 1950 года, на школьные каникулы, так, чтобы дети не пропустили ни одного дня занятий.

Вновь я попал в Межигорье уже после смерти Сталина, в 1950-е годы. Отец поехал по делам в Киев и прихватил с собой меня. Тогда Украину возглавлял Николай Викторович Подгорный, соответственно он же занимал и бывшие отцовские резиденции. Мы проехали столь привычным и одновременно ставшим каким-то не таким путем. С Лукьяновки по Крымской горке спустились вниз на Подол, но не былым булыжным узким серпантином, а спрямленной заасфальтированной широкой дорогой. На Подоле свернули налево и бесшумно покатали по тоже заасфальтированной улице. Только трамвайные пути посередине да по правой руке школа из серо-желтого кирпича напомнили мне о детстве. Перед войной из-за нее мы ссорились с сестрой Радой до слез. Я, тогда еще неграмотный, гордо «читал» на ее фронтоне «Школа», а Рада, уже грамотная третьеклассница, поправляла меня «Шкла». Буква «о» свалилась, вот и осталось «Шкла». Я с ревом набрасывался на нее, требуя восстановить справедливость: школа есть школа, а не шкла какая-то. Межигорье не оправдало моих ожиданий, все там как-то съезжилось, потускнело. Но постепенно бывшее очарование восстанавливалось, те же цветочные грядки с «майорами» и эконизиями, на них я когда-то ловил бабочек-махаонов, те же дорожки, на дорожках те же лепешки разбитых груш, над ними жужжат те же осы и шершни, порхают все те же бабочки-адмиралы и павлиноглазки.

Последний раз я попытался проникнуть в Межигорье в 1991 году. Шла перестройка, набирала силу «борьба с привилегиями», новый украинский лидер Леонид Кравчук покинул резиденцию, там теперь никто не жил. В тот год мы с американским профессором Вильямом Таубманом (он работал над биографией отца) путешествовали по отцовским местам, посетили Калиновку, Донбасс, и вот наконец добрались до Киева.

Первым делом мы поехали на Осиевскую улицу. В резиденции теперь располагалась детская республиканская больница, сплошной некрашеный деревянный забор сменила металлическая решетка, за ней все тот же одноэтажный домик, где мы жили; на поле, где отец экспериментировал с персиками, приучал и приучил их расти в киевском климате, возвышалась серая башня больничного корпуса. Казавшийся бездонным пруд, в нем бабушка пестовала гусей и уток, обмелел, превратился в какую-то лужу. Видимо, он и раньше был таким, это я изменился. Даже огромная ветла у пруда, в нее когда-то попала молния и проделала в коре дорожку от верхушки до комля, больше не казалась великаном. Мы попросили у новых хозяев-медиков разрешения осмотреть дом, где жил отец. В его левом крыле, в бывшей столовой, шло заседание ученого совета. Справа, в спальне отца, разместился кабинет директора.

С Осиевской мы поехали в Межигорье. Однако туда, вопреки надеждам на перестройку и ликвидацию привилегий, нас не пустили. Молодой охранник сквозь щелочку чуть открытой калитки мельком глянул на документы, запер дверь и ушел совещаться с начальством. Дали от ворот поворот. Так я не попал в Межигорье в период горбачевской вольницы и, видимо, больше не попаду.

В Москве до отъезда в Киев наша семья жила в доме правительства на улице Серафимовича, дом 3, в 12-м подъезде, как мне представляется, на шестом этаже, в квартире 206. Квартиру я совершенно не помню, в моей памяти остались только окно и вид из окна. Мама меня ставила на подоконник. На противоположном берегу Москвы-реки вовсю строили Дворец Советов – выкопали огромный котлован, в нем огни электросварки и переплетение огромных стальных балок – каркас будущего здания. Уезжая в Киев, отец освободил квартиру – она принадлежала Управлению делами Совета народных комиссаров СССР, но бесквартирье продолжалось недолго. В 1939 году, сразу после избрания в Политбюро ЦК, ему предоставили новую, много большую, чем даже в доме правительства, семикомнатную дореволюционную купеческую квартиру № 95 на пятом этаже дома № 3 по улице Грановского (теперь ее переименовали в Романов переулок), рядом с Кремлем, позади «старого» Московского университета. Отец останавливался тут во время кратких наездов в Москву по сталинскому вызову или иным делам.

В этой квартире мы и поселились по возвращении в Москву. Напротив нас на той же лестничной площадке жил Николай Александрович Булганин, в тридцатые годы – председатель Моссовета, а теперь министр вооруженных сил. Этажом ниже, под нами, располагалась квартира Георгия Максимилиановича Маленкова. У отца с ним установились дружеские отношения еще с довоенных времен. Тогда Маленков заведовал кадрами, сначала в Московском комитете партии, потом в ЦК, без него не происходило ни одно мало-мальски серьезное назначение. Сейчас он продвинулся еще выше, стал правой рукой Сталина и одновременно его доверенным высокопоставленным «секретарем». Вроде Бормана при Гитлере. Под Булганиными – квартира героя Гражданской войны, командира легендарной Первой конной армии Семена Михайловича Буденного. На третьем этаже жил маршал Семен Константинович Тимошенко, нарком обороны в предвоенные годы, а до того – командующий Киевским военным округом, тоже хороший знакомый отца. Кто еще жил в нашем центральном, выходящем в хилый московский дворик, подъезде, не помню.

Началась московская жизнь. Я пошел в новую школу № 110. В отличие от моей киевской школы № 24, здесь потребовалось осваивать латынь. Сталин к концу жизни почему-то решил вернуться к классическому образованию, и на нас тогда ставили эксперимент. В середине учебного года мне приходилось наверстывать упущенное, зубрить латинские слова, спрягать глаголы, осваивать еще много иных премудростей давно умершего языка. Отвечать у доски приходилось часто и никогда успешно. Наш латинист Иван Антонович, если не ошибаюсь, учитель с еще дореволюционным стажем, ставя очередную двойку, поучал меня дежурной притчей о быстроногом Ахиллесе, который никак не может догнать черепаху. Так я ее и не догнал.

Зато я стал первым по английскому языку. В Киеве, сразу после войны, мама решила сама выучить английский язык и нас, детей, к нему приохотить. Учительницу звали Мирра Абрамовна. После двух лет интенсивного обучения, а Мирра Абрамовна нам спуску не давала, знаний английского мне хватило на всю оставшуюся жизнь.

Дачу отцу предоставили в Огареве – так теперь называлось бывшее поместье великого князя Сергея Александровича, одного из московских генерал-губернаторов. Роскошный двухэтажный кирпичный дом, с оконными переплетами в виде крестов, огромным зимним садом с пальмами и даже бананами, правда не плодоносящими, с каменными львами у парадного входа.

Неподалеку, в Зубалове, жили Микояны. Я сдружился с младшим сыном Анастаса Ивановича, Серго, он старше меня на шесть лет, закончил Институт международных отношений и стал обладателем «шикарного» трофейного «мерседеса», еще довоенного, правда, просто-явшего без движения в гараже на даче его дяди-авиаконструктора Артема Ивановича восемь послевоенных лет. В 1945 году Артем Иванович привез его из Германии, тогда оттуда тащили всё, что только можно. Но покататься на «мерседесе» Артему Ивановичу не пришлось, началась холодная война, а с ней и эра реактивной авиации. Артем Иванович дневал и ночевал в конструкторском бюро, сначала делали Миг-9, потом – знаменитый Миг-15. На работу его возили на служебной «Победе», а в редкие выходные он отсыпался. Тут не до катаний.

За разработку Мига-15 Артем Иванович получил в 1948 году Сталинскую премию, а к ней в придачу – «просто» премию в полмиллиона рублей (немыслимая сумма по тем временам) и личный подарок от Сталина – автомобиль ЗИМ.

В гараже на даче срочно потребовалось место для ЗИМа, да и две машины Артем Иванович считал ненужной роскошью, он и с одной не знал что делать. Тогда-то Серго стал обладателем дядино «мерседеса», правда, почти недвижимого. За долгие годы стоянки в неотапливаемом сарае-гараже аккумулятор приказал долго жить, все резиновые трубки растрескались, в мотор набилась пыль и сор. Заводские механики по просьбе Артема Ивановича вдохнули в автомобиль жизнь, привели его в относительный порядок и передали его Серго с рук в руки. Однако руки оказались разными. В наших руках он то никак не желал заводиться, а если и заводился, то глох в самый неподходящий момент.

Подчинялся «мерседес», тоже без особой охоты, только старшему брату Серго, Ване, работавшему у дяди в КБ и, главное, умевшему делать все: не только конструировать самолеты, но и шить шторы, строить дома, мостить дороги и уж конечно заводить автомобили. Серьезно противиться ему автомобиль не смел, обиженно прочихавшись, начинал недовольно урчать. Серго гордо усаживался за руль, я устраивался рядом, и мы отправлялись в полуторакилометровое путешествие от микояновской дачи к нашей. Метров через триста «мерседес», убедившись, что Ваня остался дома, пару раз стрельнув мотором и выпустив из выхлопной трубы облако вонючего дыма, останавливался. На нас с Серго он никак не реагировал, хотя мы все делали, как учил Ваня: продували насосом карбюратор, отсоединяли и снова присоединяли трубки бензопроводов, осторожно пинали босыми ногами колеса. Ничего не помогало. Отчаявшись, мы отправлялись назад за Ваней. Он никогда не отказывал, брел с нами к месту, где «мерседес» заартачился, и через пару минут, поняв, что сопротивление бессмысленно, автомобиль в его руках заводился. Ваня отправлялся пешком назад, а мы продолжали путешествие. Расстояние между дачами мы обычно одолевали в три-четыре приема, и времени тратили побольше, чем на пешую прогулку, я уже не говорю о велосипедной. Но зато – за рулем собственного автомобиля!

За столом у Сталина

Отец постепенно осваивался с московскими порядками. После полновластья на Украине, где все принаравливалось к его распорядку дня, его привычкам, ему теперь приходилось приспосабливаться к сталинскому укладу жизни. Полуночный просмотр очередного полюбившегося Сталину старого американского ковбойского фильма, затем бдение за «обеденным» столом, возвращение домой под утро, а утром – на работу. И так изо дня в день. В те годы я впервые увидел отца не совсем трезвым. Он вернулся от Сталина не под утро, как обычно, а ранним утром, когда я собирался в школу.

«Когда я вновь перешел работать в Москву, для меня, конечно, было большой честью работать непосредственно под руководством Сталина и напрямую общаться с ним. Я сказал бы, что это было полезно и для работы. Ведь от Сталина мы набирались и немало полезного, потому что он являлся крупным политическим деятелем. Особенно получалось хорошо, когда он находился в здравом уме и трезвом состоянии. Но страдать приходилось больше, чем на Украине, где я был на отшибе. Почти каждый вечер раздавался звонок: “Приезжайте, пообедаем”. То были страшные обеды. Возвращались мы домой к утру, а мне ведь нужно на работу выходить. Я старался поспевать к десяти часам, а в обеденный перерыв пытался поспать, потому что всегда висела угроза: не поспишь, а он вызовет, и будешь потом у него дремать. Для того, кто дремал у Сталина за столом, это кончалось плохо. Меня могут спросить: “Что же, Сталин был пьяницей?” Можно ответить, что и был, и не был. В последние годы не обходилось без того, чтобы пить, пить, пить. С другой стороны, иногда он не накачивал себя так, как своих гостей, наливал себе в небольшой бокал и даже разбавлял его водой. Но, боже упаси, чтобы кто-либо другой сделал подобное: сейчас же следовал “штраф” за уклонение, за “обман общества”. Это была шутка, но пить-то надо было всерьез...»

«...После войны у меня заболели почки, и врачи категорически запретили мне пить спиртное, – продолжает вспоминать отец. – Я Сталину сказал об этом, и он какое-то время даже брал меня под защиту. Но это длилось очень непродолжительное время. Тут Берия сыграл свою роль, сказав, что у него тоже почки больные, но он пьет, и ничего. Я лишился защитной брони (пить нельзя, больные почки): все равно пей, пока ходишь, пока живешь!»⁵⁴

Раз речь зашла о сталинских обедах, то не могу не упомянуть послеобеденные танцы. О них столько наговорено в последние годы. Досужие «историки» превратили их чуть ли не в причину десталинизации. Сталин-де регулярно унижал своих собутыльников, особенно Хрущева, вот и доунижался. На самом деле ничего зловеще-драматического в застольном времяпрепровождении компании давным давно знавших друг друга, изрядно надоевших друг другу стареющих мужчин я не нахожу. Изо дня в день, вернее из ночи в ночь, месяц за месяцем, год за годом одни и те же люди собирались за одним и тем же столом, ели одни и те же блюда, вели одни и те же разговоры. Иногда им, как всем смертным, хотелось поразвлечься, попеть, потанцевать. Отец рассказывал, что заводилой часто выступал Жданов. Он, по выражению отца, «бренчал» на рояле, инструмент стоял тут же в столовой, и пел куплеты, которые – снова процитирую отца: «не то что в приличном обществе, не во всяком кабаке услышишь». Остальные сталинские гости слушали, а кое-кто и подпевал. Однажды я сам оказался невольным свидетелем подобного «концерта», правда, не у Сталина на даче в Волынском. В апреле 1956 года советская делегация во главе с председателем Правительства Булганиным на крейсере «Орджоникидзе» направлялась с государственным визитом в Великобританию. Отец тоже входил в состав делегации. 17 апреля, в день рождения отца, накануне прихода в порт Портсмут, Николай Александрович, а он любил выпить, крепко перебрал. Мне пришлось препроводить его в каюту отсыпаться. Я тянул Булганина за руку, а он то шел, то останавливался и в который раз начинал распевать куплеты о кунавинских

мужилах. Кунавино – район Нижнего Новгорода, где Булганин родился и вырос. Куплеты нанизывались один на один складно, но не совсем литературно. Наиболее безобидный начинался словами: «Сели девки под корову, а попали под быка...»⁵⁴

Наверное, что-то подобное пелось и у Сталина, а напевшись, присутствовавшие начинали танцевать. Вот как вспоминает о танцах отец: «Это уже, наверное, последний год его жизни. Мы собрались у Сталина встретить Новый год на “ближней”. Чего-либо особого в тот Новый год по сравнению с другими вечерами, которые мы у него проводили, не происходило. Тот же состав людей, внутреннее настроение, конечно, повышенное, Новый год! Обедали, закусывали, пили. Сталин был в хорошем настроении, сам пил много и других принуждал. Выпили изрядное количество вина. Затем он подошел к радиоле и начал ставить пластинки. Слушали оркестровую музыку, русские песни, грузинские. Мы пели и подпевали пластинкам, которые заводил Сталин.

Потом он поставил танцевальную музыку, и все начали танцевать. У нас имелся “признанный” танцор Микоян, любые его танцы походили один на другой, что русские, что кавказские, все они брали начало с лезгинки. Потом Ворошилов подхватил танец, за ним и другие. Лично я никогда, как говорится, ног не передвигал: из меня танцор, как корова на льду. Но и я “танцевал”. Каганович, как и Маленков, – танцоры не более высокого класса, чем я. Булганин когда-то в молодости хорошо танцевал. Он вытапывал в такт что-то русское. Я бы сказал, что общее настроение было хорошим. Только Молотова не хватало. Молотов слыл городским танцором. Он воспитывался в интеллигентной семье, потом был студентом, плясал на студенческих вечеринках, к тому же он любил классическую музыку и сам играл на скрипке, вообще был музыкальным человеком. В моих глазах слабого ценителя он был танцором первого класса. Сталин тоже передвигал ногами и размахивал руками»⁵⁶.

Как видите, никаких унижений, просто незатейливое «холостяцкое» веселье. Спустя почти десятилетие президент Индонезии Сукарно тоже попытался приобщить отца к танцам. Обстановка тому способствовала: государственный визит в Индонезию в феврале 1960 года проходил, как говорится, без сучка и задоринки, а президент, как пишет в воспоминаниях отец, «обожал танцевать. И любил, чтобы танцевали все присутствовавшие. Так он поступал в Богоре⁵⁷ и так же продолжал вести себя на Бали, в президентской резиденции, где останавливалась советская делегация. Я (Хрущев. – С.Х.), человек абсолютно не танцующий, даже в молодости никогда не увлекался танцами, был очень стеснительным, хотя мне нравилось смотреть, как танцуют другие. В принципе я был бы не прочь принять участие в невинных развлечениях Сукарно, но, кроме группового танца, который прежде знали в Донбассе шахтеры и мастеровые, я не умел ничего другого. Там становились в круг, брались за руки и топтались, вроде как в болгарском коло. Это умели делать все. Примерно так же однообразно, но до упаду, танцевал и Сукарно. Обычно после ужина. Сначала устраивался концерт с исполнением национальных музыкальных произведений, проходили сольные выступления. Затем все танцевали. Так прошел первый вечер, разошлись очень поздно.

На второй вечер после ужина президент снова устроил то же самое. Когда перешли к танцам, я стал прощаться, сказав, что очень устал. “Как? – изумился Сукарно. – Это невозможно, девушки обидятся, сделай мне одолжение”. Он столь же обожал танцы, как и женщин. Порою просто не владел собою. Я все же ушел, некоторые из наших остались. Тут танцором номер один стал Громыко. Утром мне рассказали, до которого часа длились танцы. К тому времени я уже выпался!»⁵⁸ Думаю, что в данном случае отец, как и в молодости, засмущался, никакого особого искусства, по его собственному свидетельству, танцы у Сукарно не требовали. Я отлично понимаю отца. Как и он, я тоже стеснялся и тоже почти никогда не танцевал. Почти, потому что изредка, в своей компании, особенно на природе, друзьям

удавалось меня расшевелить, втянуть в общий круг. Можно ли назвать мои телодвижения танцем, судить не берусь, но я бегал вокруг костра и прыгал без удержу.

Отец тоже иной раз поддавался на уговоры, тому есть документальные свидетельства. Кинокамеры фиксировали на каком-то празднике в Кремле лихо отплясывающего вприсядку молодого Буденного, чуть приседающего, еще весьма резвого Ворошилова, отца, стоящего рядом и притопывающего ногой в такт танцорам. В 1963 году его показали в кинохронике, «двигавшего ногами» в такт музыке на празднике в абхазском селении, куда они с Фиделем Кастро завернули во время поездки кубинского гостя по стране. В паре с отцом «танцевал» местный старейшина, годившийся Хрущеву в отцы. Вместе они смотрелись весьма неплохо.

Во время одной из многочисленных встреч с писателями в загородной резиденции в Семеновском отца тоже видели танцующим, точнее, он ходил по кругу, похлопывая в ладоши, а рядом с ним приплясывал Ворошилов. Последний любил потанцевать. Его жена Екатерина Давидовна вспоминает об относящихся к совсем иному, дохрущевскому периоду застольях, «...когда им приходилось запросто бывать на даче под Москвой у тов. Сталина.

Вспоминалось гостеприимство Сталина, песни, танцы. Да, да, танцы. Плясали все, кто как мог. Киров и Молотов плясали русскую с платочком со своими дамами. Микоян долго шаркал ногами перед Надеждой Сергеевной (Аллилуевой. – С.Х.), вызывая ее танцевать лезгинку. Танцевал он в исключительном темпе и азарте, при этом вытягивался и как будто становился выше и еще тоньше. А Надежда Сергеевна робко и застенчиво еле успевала ускользнуть от активного наступления Микояна. Ворошилов отплясывал гопака или же, пригласив партнершу для своего коронного номера – польки, танцевал с чувством, толком, расстановкой. Жданов пел под собственный аккомпанемент на рояле.

И Сталин пел. Были у него любимые пластинки с любимыми ариями из опер и песнями. Пластинки Иосиф Виссарионович сам сменял и занимал гостей. Особенно ему нравилось смешное...

Какое это было замечательное время! Какие были простые, по-настоящему хорошие, товарищеские отношения»⁵⁹.

И тут нет и намека на неудовольствие, я уже не говорю об «оскорблении достоинства» танцевавших, певших и пивших. От отца я тоже никогда не слышал нареканий на танцы у Сталина.

Но довольно о танцах.

Как прокормить москвичей?

В Москве отец получил в наследство от своих предшественников вконец разоренное сельское хозяйство. Те же проблемы, что в Киеве, и не совсем те: колхозы – маленькие, земли неплодородные, жилья нет не потому, что его разрушила война, оно просто отсутствовало. Возрождение Подмосковья, по мнению отца, следовало начинать со специализации, с избавления от сельскохозяйственных культур, требовавших просторных полей: пшеницы, овса, ржи, развивать овощеводство, сажать картошку, морковь, капусту, салат, лук, строить теплицы, выращивать в них круглый год огурцы, помидоры, зелень, ориентироваться на потребности Москвы. Этим он в Киеве, на Ирпенской пойме, завершал свою карьеру и с того же решил начать преобразование подмосковного аграрного сектора. Доставлять все эти деликатесы с юга в те года не получалось, о рефрижераторах еще только мечтали, а без них любой овощ за неделю превращался в сплошную гниль.

Москвичи страдали не только от отсутствия свежих овощей и фруктов. За молоком, сметаной, творогом, сыром, маслом и, конечно, мясом, когда эти продукты появлялись на магазинных полках, выстраивались длиннющие очереди. Чтобы все это произвести, скотину требовалось накормить, если не вдоволь, то хотя бы покормить, чтобы на кости хоть какое-то мясоросло, а вымя, высохшее от голода, раздоилось. Но как этого добиться? В подмосковных худосочных колхозах числились одни старухи. Рассчитывать на них особенно не приходилось. Хуже того, рассчитывать было вообще не на что.

Село задавили непомерными налогами, им обложили каждую яблоню, корову, каждую курицу. Труд крестьян государство оценивало более чем символически, колхозникам за трудодень официально платили меньше рубля, а нередко просто отмечали еще один отработанный день в ведомости «палочкой». И дело с концом. Заготовительные цены тоже устанавливали соответствующие, к примеру, в начале 1950-х годов за килограмм картошки давали три копейки, те старые, неденоминированные 3 копейки. Довезти ее от поля до сдаточного пункта обходилось дороже. Налоги же Министерство финансов взимало исправно, не заплатишь, никто с тобой церемониться не станет, дело передадут в органы, оттуда – в прокуратуру с судом, и пойдешь мотать срок. Вот и приходилось все выращенное на собственных приусадебных участках на своем же горбу тащить в Москву на рынок, а вырученные деньги в виде налогов возвращать той же Москве.

Такую политику Сталин проводил осмысленно. Он ненавидел крестьян и через ограбление деревни приумножал, как ему представлялось, богатство страны, черпал из казалось бы бездонной бочки ресурсы на строительство новых заводов, электростанций, вооружение новых и новых дивизий. Постоянно выдумывались все новые и новые налоги. Общая сумма налога с крестьянского двора возросла со 112 рублей в 1940 году до 419 – в 1949 году, это год переезда отца в Москву, и продолжала расти, достигнув 528 рублей в 1952 году⁶⁰.

Работать практически задаром никто не хотел нигде, но в глубинке деться некуда, а тут до Москвы рукой подать и работы там неупреждающий, хочешь – иди улицы подметать, хочешь – осваивай профессию строителя или на завод нанимайся. Отсутствие у крестьян паспортов и необходимость получения у местных властей разрешения на отходный промысел мало кого смущало, вечно голодный на рабочие руки город как-то договаривался с областью. Нередко все решалось и того проще, секретарь сельсовета за бутылку самогона выправлял нужные бумаги, выдавал справку – и ищи вчерашнего колхозника в московских переулках.

Кардинально изменить положение отец и мечтать не смел, заикнись он перед Сталиным о непосильности налогового бремени, и... В 1946 году он испытал на собственной шкуре, что следует за «и...». Тогда на Украину обрушилась страшная засуха, зерна собрали чуть ли не меньше, чем посеяли, в среднем по 4,6 центнера с гектара, и тем не менее госу-

дарственные заготовители вымели и это «чуть ли» подчистую, и рожь, и пшеницу, и кукурузу, и горох, «заготовили» даже семенной фонд, на собственный прокорм не оставили крестьянам ни килограмма⁶¹. Украине грозил голод, возможно, не меньший голодомор, чем в начале тридцатых годов. Требовалось что-то предпринять, и немедленно. Отец понимал: в сложившихся условиях сданный хлеб Москва не вернет, он уже «расписан» на прокорм не только своих горожан, но и значительная часть украинского урожая, около 2,5 миллионов тонн зерна, ушла в Польшу, Чехословакию и Германию. Отец потом часто вспоминал, как в голодную зиму 1946/47 года, когда украинцы ели траву, крыс, дошли до людоедства, поляки с презрением отказывались от «советского» черного ржаного хлеба, требовали пшеничного. Этого им отец не простил.

Отец решил пойти на хитрость, попытаться договориться с Москвой в обход Сталина о получении для украинских крестьян нескольких миллионов карточек, дававших доступ к централизованному государственному снабжению продовольствием. Их ввели еще в начале войны, но выдавали только горожанам. Крестьяне, считал Сталин, сидят на земле и сами себя прокормят. Осенью 1946 года Сталин отдыхал на Кавказе, за него на хозяйстве оставались Маленков с Берией. Они обещали посодержать. Распределением карточек в Москве ведал Алексей Николаевич Косыгин, он тоже пообещал карточки выделить, попросил лишь прислать ему для проформы из Киева официальный запрос. Но что-то не сложилось. Или московские «друзья» повели свою игру. Так или иначе, но Берия, только он имел право поставить факсимиле Сталина, письмо за подписью отца направил не Косыгину на исполнение, а Сталину в Сочи.

У Сталина же осенью голодного 1946 года вызревали совсем другие планы. Он решил с 1947 года вообще отменить карточки и теперь копил резервы. А как их накопить, если в стране шаром покати? Сталин разрешил проблему по-своему, 26 сентября 1946 года он подписал секретное Постановление «Об экономии и расходовании хлеба», предписывавшее с 1 октября сократить ежемесячный «расход» зерна на выпечку хлеба почти на полмиллиона тонн, с 1 миллиона 676,7 тысяч тонн до 1 миллиона 190,8 тысяч тонн. И соответственно уменьшить отпуск хлеба по карточкам на 30 процентов, урезать «контингент», снабжаемый по карточкам хлебом, с 87 миллионов до 60 миллионов человек. Из 27 миллионов человек, лишившихся гарантированного продовольственного пайка, 23 миллиона проживало в сельской местности. Оставшиеся 5 миллионов набирались за счет изъятия карточек у 70 % «иждивенцев». В иждивенцах числились все неработающие или работающие на менее важных, с точки зрения Сталина, участках, в том числе МТС, совхозах, местной промышленности. Оставшимся 30 процентам «иждивенцев» нормы выдачи срезали до 250–300 граммов, а детям с 400 до 300 граммов хлеба в день⁶² – столько выдавали в осажденном Ленинграде.

Когда отец писал свое письмо Сталину, он об этом Постановлении еще не знал и попал как кур в ощиц.

Никаких карточек Украина, естественно, не получила. Сталин разнес отца сначала письменно, а по возвращении с юга, 27 февраля 1947 года, вызвал его в столицу и устроил показательную выволочку, обвинил в мягкотелости, потворствовании мелкобуржуазной крестьянской стихии и еще бог знает в чем. Отец приготовился к худшему, к аресту, но обошлось. Сталин ограничился снятием его с секретарей Украинского ЦК и заменой на время Кагановичем. Опала продолжалась около года, 15 декабря 1947 года Кагановича с Украины отозвали⁶³. Стоила она отцу многих лет жизни. Я уже упоминал об этом «эпизоде» в жизни отца. Соваться снова к Сталину с предложением снизить налоговое бремя отец, естественно, не мог. Приходилось выкручиваться. Выход отец нашел в укрупнении слабосильных подмосковных колхозов, так удастся собрать вместе хоть сколько-то рабочих рук, создать «критическую массу», превратить хозяйства, только числящиеся колхозами в статистических

отчетах, в нечто трудоспособное. К тому же тут и риск сводился к минимуму, отец двигался в фарватере сталинской политики сокращения общего количества колхозов в стране. Только в 1950 году – с 252 тысяч до 121 тысячи, а в 1952-м уже – до 94 тысяч⁶⁴.

Отец начал перестраивать сельское хозяйство Подмосковья под потребности Москвы, пересматривали плановые задания, структуру посевов и заготовок. Ему пришлось сражаться с Госпланом, Совмином, вернее, уговаривать, улещивать их, да так, чтобы Сталина не прогневить. Нельзя сказать, что все удалось сполна, но кое-что получилось. Но тут же возникли новые проблемы: выращивание овощей требовало дополнительных затрат труда. И картофель, и морковь, и свеклу недостаточно посадить или посеять, как овес, за ними надо все лето ухаживать, прореживать, пропалывать, рыхлить. И все это вручную. На приусадебных участках колхозники рыхлили и пололи в охотку, а на колхозных полях горбатиться на дядю не хотели, да столько рук в колхозах просто не было. Даже после укрупнения они оставались малочисленными и слабосильными. Отец уповал на технический прогресс. С проблемой обработки пропашных, так называют культуры, требующие постоянной обработки в течение лета (клубники, картофеля, хлопка, кукурузы, сахарной свеклы), отец настрадался еще на Украине. Там же наметилось и решение проблемы: квадратно-гнездовой, шахматный сев. Отец попросил своего помощника по сельскому хозяйству Андрея Степановича Шевченко разыскать полученную после войны от американцев, от ЮНРРА, квадратно-гнездовую сажалку и, если новое украинское руководство позволит, привезти ее в Москву. Новое руководство не возражало. С отъездом отца эксперименты забросили. Раньше он подталкивал Минсельхоз, ездил на испытания, требовал отчета, другими словами, подкачивал энергию. И дело двигалось, энтропия уменьшалась, система упорядочивалась. Без него все пустили на самотек, энергия быстро улетучивалась, как воздух из дырявого баллона... Энтропия возросла до таких размеров, когда никому и ничего не нужно.

Сажалку украинцы отдали Шевченко с охотой и с облегчением. Передали они Шевченко и изготовленные еще при Хрущеве собственные копии с американской сеялки. Все это добро свезли в подмосковные Люберцы, где располагался экспериментальный завод сельскохозяйственных машин и испытательная станция. Отец уже успел познакомиться с местными инженерами. Теперь им предстояло вместе приспособлять американскую конструкцию к российской действительности. На первый взгляд все выглядело до смешного просто: трактор с сеялкой следует вдоль натянутого по борозде проволочного шнура с завязанными на нем через равные промежутки узелками-метками. Сеялка связана с проволокой скользящим по ней простейшим датчиком. Наткнулся он на узелок, отклонился «флажок», открылась заслонка в бункере, и в лунку падает картофелина, зернышко кукурузы или сахарной свеклы, притом только одно, чтобы не прореживать. Начали экспериментировать в одном из колхозов Раменского района. Отец его выбрал сам, тамошний председатель произвел на него впечатление человека инициативного. Поездки на поля в Раменское времени требовали немало, и отец перенес испытания в колхоз деревни Усово. Рядом с ней, за каменным забором, располагалась его загородная резиденция «Огарево». В нем селились первые секретари Московского Комитета Коммунистической партии: первым Александр Сергеевич Щербаков, затем Георгий Михайлович Попов, после него отец, а после отца – Николай Александрович Михайлов и так далее. Теперь отец навещался к испытателям каждый выходной. Естественно, и мы, дети, увязывались следом. Все походы были похожи, отец вместе с испытателями резиновыми сапогами месил весеннюю грязь, наблюдал, как вдоль борозды долго натягивают стальную проволоку с завязанными через равные промежутки узлами. Потом заводили трактор, прицепляли картофелесажалку и приступали к действию. Трактор полз вдоль проволоки, очередной узелок отворял затворку в хоботе картофелесажалки, и картошка за картошкой скатывалась в борозду: шелк, шелк, шелк. Когда борозда заканчивалась, проволоку отцепляли от сажалки, вручную переставляли на следующую борозду, и так

раз за разом. Отец вышагивал за трактором, проверял, сколько картошек свалилось в каждую лунку, измерял расстояние между лунками, о чем-то долго разговаривал с инженерами. Так продолжалось часами. Нам, детям, уже через четверть часа становилось невыносимо скучно, но мы терпели.

На следующий выходной все повторялось. Дела не очень ладились. Многометровая проволока под напором трактора вытягивалась, вместо квадратов получались разнокалиберные ромбы, особенно это становилось заметным, когда появлялись всходы. В продольном направлении рядки четко прослеживались, а в поперечном растения располагались хаотично, ни о какой механизации обработки посевов пока не приходилось и мечтать. От огорчения отец только побрякивал. Инженеры из Института сельскохозяйственного машиностроения дорабатывали сеялку. Следующей весной все повторялось сызнова. Нерастягивающуюся проволоку с узелками так и не изобрели, квадратно-гнездовые сеялки не пошли, их выпускали на заводах, но в очень ограниченных количествах. В начале 1960-х годов в той же Америке появились химические средства борьбы с сорняками, яды-гербициды. Они и похоронили идею квадратно-гнездовой посадки, сначала в Америке, а затем и у нас.

Кукуруза, самое начало

В те же годы отец начинал свою кукурузную эпопею, пока в масштабах одной лишь Московской области.

Почему-то многие считают, что это отец привез кукурузу из США, из штата Айова, куда он заезжал во время государственного визита в сентябре 1959 года. Кукуруза действительно пришла к нам из Америки так же, как табак, помидоры и картошка, но задолго до Хрущева. Согласно историческим хроникам, начало возделывания кукурузы относится к XVII веку, на западе в Молдавии и на востоке в Грузии. Вот только в те далекие годы ни Грузия, ни Молдавия не входили в состав Российской империи. Восточная Грузия присоединилась к России в 1801 году, а Западная, поэтапно, в 1804–1864 годах. Левобережье реки Днестр завоевано в конце XVIII века, а вся Молдавия-Бессарабия – в 1812 году. Вместе с новыми территориями россияне получили кукурузу и умевших ее возделывать крестьян. Американский штат Айова тоже не остался в стороне, в самом начале XX века там разработали технологию проверки зерна на всхожесть перед высевом в землю. В 1907 или 1908 году в Новороссии, конкретно в Бессарабии, по заданию Кишиневского земства американское ноу-хау продвигал айовец Луис Майкл, для большей убедительности украсивший себя значком с призывом по-русски: «Больше кукурузы для Бессарабии» и изображением початка⁶⁵.

Постепенно кукуруза обжила весь российский юг, к середине 1930-х годов, когда отец по долгу службы начал осваивать сельскохозяйственные премудрости, ею уже засевали миллионы гектаров, раньше занятых менее урожайными культурами: овсом, пшеницей или рожью.

Кукуруза стала настолько привычной, что украинцам казалось, они сажали ее «всегда», сколько они себя помнят. К сожалению, кукуруза требует к себе еще больше внимания, чем картошка, которую окучил раз-другой и ладно, она прорастет и через сорняки. А кукуруза, если ее в течение сезона не прополоть, да не один раз, зачахнет.

Переехав в Москву, отец о кукурузе поначалу и не думал, культура южная, к местному климату непривычная. Вспомнить о ней заставило отсутствие на московских прилавках мяса, молока, масла. Требовалось резко, в разы увеличить поголовье коров и свиней. Все уперлось в корма. Выпасов-лугов на всех не хватало, да и пастись на них буренки могли лишь с мая по сентябрь, а чем их кормить в остальное время? Достаточно сена, традиционного российского коровьего корма, запасти с имевшихся в области угодий не получалось, даже если выкашивать все подряд – луга, лесные поляны, придорожные канавы. Кормить скот зерном, как практиковалось в Европе, при хроническом недостатке хлеба в стране и в голову не приходило. На прокорм скоту, в основном лошадям, крестьяне сеяли овес, но собирали его пять-шесть центнеров с гектара, да еще если повезет. Для одной семьи еще туда-сюда, а миллионный город овсом не прокормишь. Приходилось ломать голову: мясо с молоком нужно позарез, да где ж его взять? Чтобы прокормить себя, надо научиться кормить скотину вдоволь.

Отец объезжал один за другим московских сельскохозяйственных институты, спрашивал профессоров, как проблема кормов решается в других странах. Ответы не вселяли оптимизма. В большинстве животноводческих стран – Аргентине, Новой Зеландии, Австралии, Ирландии, Англии – тепло и влажно, скот содержится на подножном корме, практически круглый год гуляет по зеленым выпасам. В Америке дела обстояли иначе, там зимой, месяца два-три в году, скотину приходилось подкармливать. Для этого американцы измельчали зеленую массу кукурузы, гороха, сои, смешивали и заквашивали их в специальных ямах или башнях, получали силос. Им и кормили животных всю зиму, а там, где пастись коров негде или невыгодно, и летом тоже.

Ученые демонстрировали отцу сравнительные таблицы питательности разных видов растений. Эффективность каждой культуры оценивалась в кормовых единицах. Первое место с большим отрывом занимала кормовая кукуруза, измельченные стебли растений, листья и недозрелые початки. В Москве кукуруза, конечно, не вызревает, но это и не нужно, семена можно каждый год завозить из южных районов, а зеленую массу во влажной средней полосе растения наберут даже лучше, чем на засушливом юге, если, конечно, руки приложить. Следом за кукурузой шли горох с соей, а в самом низу: овес, сено и низкокалорийная солома. Конечно, и соломой можно брюхо набить, но прироста мяса или молока с нее не получишь. Отец внимательно слушал профессионалов, память у него на то, что его интересовало, была цепкой. В последующие годы он сам оперировал кормовыми единицами на уровне профессионала. Разбуди его ночью, спроси, сколько их в центнере кукурузы, гороха или овса – и без запинки получишь ответ.

Вот и получалось, что кукуруза (в сочетании с горохом и соей, где погода благоприятствует их росту) оказалась той палочкой-выручалочкой, которая позволяла накрыть скатерть-самобранку для всех и каждого.

Сказано – сделано, отцу казалось, стоит растолковать крестьянам их собственную выгоду, и дело наладится. Какая наивность! Отец не вспомнил, каких усилий стоило Екатерине Великой внедрение картошки на Руси в XVIII веке. Приходилось не только уговаривать и разяснять, но и власть употреблять, подавлять военной силой картофельные бунты. В чем только ни обвиняли императрицу: вплоть до того, что она вознамерилась россиян отравить, извести российский люд на земле. «Упрямые» мужики, несмотря ни на что, отказывались есть «барские ягоды». Они не знали, что плоды – клубни картофеля скрыты в земле, а под угрозой наказания с отвращением поедали красненькие шарики – ядовитые плоды-семена картофеля. И травились... Что, естественно, не добавляло картошке популярности. Даже после Екатерины, в просвещенном XIX столетии, помещики и крестьяне еще долго относились к картофелю с большим подозрением. Только через полтора века картошку признают за свою, и она станет основной пищей бедного, да и не только бедного люда.

С кукурузой оказалось не намного легче. Колхозники и местные руководители в своем большинстве отторгли кукурузу. Примерно так же, как человеческий организм отторгает необходимый для его спасения трансплантированный чужеродный орган. И в том и в другом случае и человеческий, и социальный организм подсознательно противятся неизведанному. Правда, открыто бунтовать против кукурузы не решались, но и не ухаживали. У нас привыкли: овес весной высеял, пробороновал и забыл о нем до осени. Осенью скосил, обмолотил, сколько Бог послал, и жди новой весны. Так относились и к кукурузе, а при таком отношении от нее, естественно, проку меньше, чем от самого паршивого овса.

В связи с этим мне вспомнилась такая история. В июне 2000 года я побывал в Финляндии на открытии выставки, посвященной дружбе и сотрудничеству президента Финляндии Урхо Калева Кекконена с Никитой Сергеевичем Хрущевым. Встречал нас, меня, сестру Радугу и моего сына Никиту, бывший министр иностранных дел Финляндии во времена отца, господин Виролайнен. Он рассказал нам забавную историю появления кукурузы в Финляндии.

Во время одного из визитов Хрущев прознал, что он, Виролайнен, не только министр иностранных дел, но и фермер, владелец стада дойных коров, и стал немедленно склонять его в свою, кукурузную веру, пообещал прислать семена, помочь начать новое дело. Вскоре на ферме Виролайнена появился помощник отца Шевченко с отборными гибридными семенами кукурузы и ручной сажалкой-хлопушкой. Новая культура понравилась коровам, а значит и Виролайнену. Со смехом Виролайнен рассказал, как после снятия отца он однажды встретился с Косыгиным, и, когда речь зашла о его ферме, кукурузе и Хрущеве, Косыгин на полном серьезе заявил ему, что тот может перестать заниматься кукурузой, так как теперь Хрущев не у власти.

– Я только посмеялся, – закончил свой рассказ Виролайнен, – сказал господину Косыгину, что это моя ферма и ни он, ни Хрущев мне не указ. А сажаю я кукурузу не потому, что мне кто-то приказывает, а потому, что она мне здесь, в Финляндии, приносит выгоду.

Давно уже отошедший от политики, он выращивает ее на корм своим коровам до сих пор.

Одним из первых в Подмоскowie начали экспериментировать с кукурузой в Усовском колхозе. Весной 1951 года придорожное поле под пристальным наблюдением отца засеяли квадратами. Летом кукуруза встала как джунгли. К осени построили силосную башню. Усовские коровы повеселели, в один год прибавили в весе больше, чем за предыдущую пятилетку, выросли удои, приплод не только почти удвоился, но телята рождались полновесными, здоровыми. Отец торжествовал, кукуруза на его глазах сотворила с колхозным стадом чудо. Но такие примеры единичны. Кукуруза же стала любимой темой анекдотов.

Каковы силос и дурьян на вкус?

Итак, осенью 1951 года усовские колхозники впервые заложили на зиму кукурузный силос, и он, согласно технологии, к ноябрю как следует забродил. Любознательный, порой до невозможности, отец решил попробовать, чем он так прельщает скотину, каков кукурузный силос на вкус. Наверное, это у нас в крови. Я тоже не могу удержаться и пробую все подряд. Не раз мой желудок расплачивался за неумеренное любопытство.

Отец попросил охранников выковырять из силосной массы пару початков кукурузы и принести ему на пробу. Приказ есть приказ, причуд за свою службу сотрудники Управления охраны навидались немало. Возвращаясь с добычей, они держали кукурузные початки на вытянутых руках подальше от носа, от них здорово несло кислятиной. Отец заколебался, но характер выдержал и односложно бросил: «Варите». Через полчаса по дому распространились неаппетитные запахи, но никто из домашних происходящее не комментировал. Сели за стол к обеду. Подавальщица принесла фарфоровый супник, плотно закрытый крышкой, и поставила перед отцом. Он приоткрыл крышку и непроизвольно поморщился от, мягко говоря, своеобразного аромата. Какое-то время отец разглядывал в супнике выглядевшие весьма аппетитно початки. Вот только запах... Он закрыл супник крышкой, попросил: «Уберите» – и принялся за свою диетическую вареную рыбу с вареными же овощами. Эта история напомнила мне другой эпизод, связанный с пробой чужих деликатесов, произошедший десятью годами позже. В феврале 1960 года отец собирался с официальным визитом в Индонезию. Мне посчастливилось в этой поездке сопровождать отца.

Чтобы сделать рассказ полней, начну издалека. Отец с детства привил мне любовь к природе. На Украине, в Межигорье я, затаив дыхание, следил за битвами жуков-олений, охотился на бабочек, мечтал поймать самую главную из них – большую ночную павлиноглазку. По вечерам восхищался пируэтами охотившихся за мотыльками летучих мышей. Постепенно у меня собралась весьма приличная коллекция бабочек, в основном подмосковных.

За прошедшие со смерти Сталина годы в стране многое изменилось. Никто уже не утверждал, что все мало-мальски достойное имеет российские и только российские корни, что все изобретения происходят из России, что даже слоны родом из Сибири, потому что там когда-то бродили стада их родственников-мамонтов. На прилавках магазинов появлялось все больше переводных книг. Я не пропускал ни одной публикации о природе, особенно тропической. Одна из них – описание путешествия английского натуралиста XIX века Альфреда Уоллеса по тропическим лесам Индонезии. Там Уоллес пришел к концепции изменчивости видов, эволюционного развития всего живого, но с публикацией чуть-чуть запоздал и уступил право первооткрывателя Чарльзу Дарвину. Прочитанная мною книга об Уоллесе изобиловала фантастическими деталями. Особенно меня поразило описание сказочного фрукта с экзотическим названием «дурьян». Дурьян – плод величиной с дыню, покрытый, наподобие конского каштана, колючками, растет на дереве, и божественный вкус этого фрукта, напоминающий одновременно землянику и банан, несмотря на не очень аппетитный запах, по словам автора, сводит с ума всех обитателей джунглей. Тигры, заметив дурьяновое дерево, ждут, когда созревший дурьян упадет и расколется, вступают в смертельную схватку за право полакомиться свалившимся с небес деликатесом.

Накануне отъезда в Индонезию я посоветовал отцу прочитать книгу Уоллеса. С первого дня визита я из окон автомобиля, следовавшего в кортеже по улицам городов и селений, жадно вглядывался в горы незнакомых фруктов, которыми торговали на придорожных импровизированных базарчиках. Я мечтал увидеть дурьян. Возможно, я его и видел, но не узнавал, представление о нем из книги об Уоллесе я вынес весьма расплывчатое. В резиденции, где разместили отца, нас угощали различными неслыханными и невиданными фрук-

тами, но не дурьяном. Я пару раз заикнулся о дурьяне, но хозяева только покачивали головами. Я уже стал подозревать, что дурьян – это миф, выдуманная Уоллесом тропическая сказка. И вот однажды я увидел из окна машины сложенные на тротуаре горки больших желтоватых шишковатых плодов величиной с голову ребенка, чем-то напоминавших рисунок из моей книги. Взмолвленно я стал тыкать в окно пальцем. Сидевший рядом индонезиец равнодушно произнес: «Дурьян». Оказалось, он существует, дурьян – не миф, не выдумка Уоллеса, а реальность, и, наверное, сейчас, в пору его созревания, где-то в джунглях тигры сходятся в поединке за право полакомиться его мякотью. Тем временем машина миновала придорожный базарчик, кортеж следовал по предписанному протоколом маршруту. Но главное, я убедился, что дурьян существует, его можно попробовать, надо только преодолеть непонятную индифферентность во всем другом столь гостеприимных хозяев. Вечером я рассказал отцу о своем открытии. На следующий день уже отец расспрашивал Сукарно, правду ли пишут в книгах, что растет в джунглях плод дурьян, за право полакомиться которым дерутся даже тигры?

– Дурьян у нас действительно растет, индонезийцы его очень любят, хотя на европейский вкус... – тут Сукарно замешкался, подыскивая нужное слово, не нашел его и с улыбкой закончил: – Что касается автора книги, которую вы читали, то у него, видимо, очень богатое воображение. Если хотите попробовать дурьян, на Бали можно будет все устроить, но только под вашу ответственность.

Резиденция президента Сукарно на острове, точнее островке Бали, приткнувшемся с юга к большому столичному острову Ява, находилась в горах. Там не так допекает тропическое солнце. Несколько одноэтажных легких строений укрылись в тени огромных фикусов-баньянов. Между домами зеленел аккуратно подстриженный голландский газон – наследие колониальных времен.

Во второй день пребывания на Бали уже с утра члены делегации начали настороженно принюхиваться, в доме из всех щелей сочилось легкое зловоние, хорошо знакомый запах сероводорода, подгнившего мяса вкупе с подтухшими яйцами. С каждой минутой запах лез в нос все настойчивее, но приходилось терпеть. Кто знает, что у хозяев случилось? Один я догадывался, в чем дело. В книге об Уоллесе говорилось, что запах дурьяна слегка отдает тухлятиной. Запах тем временем крепчал, заполнил весь дом, и даже на лужайке перед резиденцией довольно сильно пахло. Энтузиазма у меня поубавилось.

Наконец настало время обеда. На открытой террасе за длинными столами расположилась делегация вперемешку с хозяевами. Рядом с отцом, как обычно, сидел Сукарно. Моим соседом оказался Адам Малик, в то время посол Индонезии в Советском Союзе. Он неплохо говорил по-русски. На первое подали черепаховый суп, но ели его мы с трудом. В горло лезла становящаяся почти невыносимой вонь. После супа принесли наперченную до невозможности жареную и тем не менее очень вкусную курицу. Запахло еще сильнее. Наконец подошло время десерта. Сукарно торжественно объявил, что по просьбе гостей нам подадут национальное индонезийское блюдо – дурьян, это фрукт, и как раз сейчас наступил его сезон. Официанты разнесли тарелки, на каждой лежала четвертушка плода, кремовой мякоти дурьяна, по консистенции напоминающей сильно подтаявшее мороженое. Ну а запах? О нем я уже все сказал. Я храбро вонзил ложку в мякоть и, задержав дыхание, поднес ее ко рту, предвкушая изысканный вкус: смесь земляники, банана и еще чего-то божественного. Не тут-то было! Вкуса вообще я не ощутил, все забил запах тухлых яиц, а по консистенции мякоть дурьяна напомнила мне разваренную до кашеобразного состояния гнилую головку лука. Я сделал усилие и проглотил первую ложку. Слизкая консистенция провалилась в желудок, но привкус тухлого яйца во рту остался. Вот тебе и райский фрукт! Сидевший справа от меня Малик с аппетитом зачерпывал дурьяновую мякоть. Так же вели себя и остальные хозяева. Гости сидели в недоумении. Одни отставили тарелки с десертом от себя подальше, другие

неуверенно ковырялись в дурьяне. Только отец, не поморщившись, отправлял в рот ложку за ложкой. В чужих краях он неукоснительно придерживался правила вежливости, предписывавшего не пренебрегать местными обычаями, чтобы ненароком не обидеть хозяев. Я решил следовать примеру отца, пересилил себя и приготовился к приему следующей порции. Ведь именно я заварил всю эту дурьяновую кашу. Но, видимо, я только себе казался молодцом. В момент, когда я зачерпнул дурьян во второй раз, Малик мельком глянул на меня и, участливо наклонившись к уху, прошептал, что ему кажется, мне уже довольно десерта. Я не противился – действительно хватит. Вскоре стол опустел. Официанты унесли почти нетронутые тарелки гостей и опустошенные тарелки хозяев. Весь вечер мы не могли избавиться от дурьянового запаха и привкуса во рту. Но на этом история с дурьяном не закончилась. Ежедневно самолетом из Москвы доставляли почту, назад самолет летел практически порожним. Отец распорядился отправить в Москву членам Президиума ЦК по корзине местных экзотических фруктов, в том числе и дурьян, пусть полакомятся. Тогда мы его еще не распробовали. Заодно отец передал по гостинцу своим давним и хорошим знакомым: премьер-министру Индии Джавахарлалу Неру (наш самолет по дороге в Индонезию останавливался в Индии) и королю Афганистана Мухаммеду Захир Шаху (отец намеревался навестить его в Кабуле на обратном пути).

По пути домой мы на день задержались в Дели. При встрече с отцом благовоспитанный Неру, поблагодарив за фрукты, о дурьяне даже не упомянул. Когда мы прилетели в Кабул, король посетовал, что нежные фрукты плохо перенесли перевозку, один даже вконец испортился. Отец не стал его разубеждать. По возвращении в Москву все вместе всласть посмеялись над дурьяновой эпопеей, а Брежнев в сотый раз пересказал анекдот о Василии Ивановиче, который вот так же, как они, не разобравшись, красную икру принял за протухшую клюкву. Рассказанные мною истории отдают анекдотом. Я было засомневался: стоит ли о них писать? Но все-таки написал.

Грань между городом и деревней

Одной из инициатив отца по возвращении в Москву стали так называемые агрогорода. Концепция вызревала у него давно, можно без преувеличений сказать, всю сознательную жизнь. Сам из крестьян, познавший все тяготы и лишения деревенской жизни, отец мечтал вырвать крестьян из «второсортности», сделать так, чтобы они зажили по-людски.

На глазах у отца происходила поистине коммунальная революция. В начале XX века, даже в Москве, что уж говорить о провинциальных городишках, практически отсутствовала канализация (за исключением центра города), вода подавалась не в дома, а в уличные водоразборные колонки, да и то не везде. Улицы оставались не мощеными, тротуары – деревянными, электричество, лампочки Ильича или Эдисона, вообще – экзотика. Все переменилось в полстолетия. У горожан в квартирах, пусть и коммунальных, появились удобства в конце коридора, но не во дворе. В деревне же мало что поменялось, разве что в пригородах электричество постепенно вытесняло керосиновые лампы. Остальное так и застряло на мертвой точке. Отцу очень хотелось, чтобы и крестьяне извели городские удобств, не бегали в зимнюю стужу до ветра, чтобы в дома пришло централизованное отопление, а на кухне – газ, чтобы горело электричество и из кранов текла вода. Мечты отца лежали в русле широкоэшелонных призывов тех лет: «Стереть разницу между городом и деревней». Собственно, отсюда и пошло название «агродорода», еще не город, но уже и не деревня. На самом деле агрогород не предполагал ничего иного, кроме создания для крестьян элементарных жизненных удобств, таких, какими пользуются уже много лет европейские и американские фермеры, – двухэтажные четырехквартирные коттеджи, мощеные мостовые, освещенные улицы, водопровод, канализация, центральное отопление, если можно, еще и газ. Чтобы не нарушать компактности застройки, не тянуть лишние километры коммуникаций, предполагалось у дома оставить лишь 10–15 соток огородов, а сами приусадебные участки вынести за пределы поселка. Там их можно обрабатывать машинами, пахать землю тракторами, а не вскапывать лопатами. В общем, то или почти то, что отец видел, путешествуя в 1946 году под именем генерала Петренко по Германии, Австрии и Чехословакии. В какой-то период речь зашла и о сельских пятиэтажках, даже построили парочку в подмосковных деревнях. Убедившись в их нерациональности, эксперимент прекратили, сосредоточившись на коттеджах.

Казалось бы, логично, но крестьяне с прохладцей отнеслись к четырехквартирным коттеджам, предпочитали хибару, но без соседей, да и приусадебный участок – на то он и приусадебный, что при усадьбе, а не на выселках. Крестьянский дом испокон века окружали дворовые постройки: конюшня, коровник, свинарник, птичник, сарай для сена и все прочее. В много- или малоквартирный дом их за собой не потащишь. Тут и извечный крестьянский консерватизм, и трезвый взгляд на реалии сегодняшнего дня: без собственного хозяйства не прокормишься. «В Хомутовке у него (Хрущева. – С.Х.) была одинокая двоюродная сестра, – вспоминает помощник отца Шевченко. – Однажды она ему написала: помоги мне, брат, у меня валится дом. Хрущев меня вызывает, показывает это письмо. Зарплату он всю отдавал Нине Петровне, а депутатские сто рублей клал в сейф в кабинете. Вот он открывает этот сейф и говорит: я вам даю пятьсот рублей, помогите моей сестре хатенку построить. Я говорю: Никита Сергеевич, за пятьсот рублей хатенку не построишь, вы же знаете, что сколько стоит. Давайте я туда поеду, поинтересуюсь, а потом будем решать.

Приезжаю в Хомутовку, заехал по адресу. Дом действительно развалюха, потолок лежит на шкафу. На центральной усадьбе в Калиновке как раз строили многоквартирный дом для специалистов. Я говорю ей: а что если мы дадим вам, хотите, одну, хотите, две комнаты в этом доме? И не надо вам будет строиться? Она говорит: не пойду. Почему? А где же я буду сеять бурлак, огурцы? Я говорю: в колхозе получите и бурлак и огурцы. Так они же, гово-

рит, еще не сеяли ни бурак, ни огурцы, а у меня в огороде уже растут. А где я, продолжает, буду поросенка держать? Ну, там будет у вас какой-то сарай. Да нет, не соглашается она, они скажут, что мой сарай воняет, и прогонят меня, а без поросенка, без курицы я жить не могу.

Возвращаясь, говорю Никите Сергеевичу: вот предлагал ей, чтобы она переселилась в дом городского типа, но она не хочет. Он говорит: “Ну, а черта ей надо?” Я говорю: “Ей нужен огород, сарай – хозяйство, одним словом. В этом вся трагедия”. В ответ он и меня выругал, и ее выругал. Он любил сельское хозяйство, жалел своих односельчан».

Порой эта любовь перерастала в насилие. Отец старался перебороть крестьянскую, как он считал, отсталость, пытался для их же пользы надавить, однажды даже предложил «прекратить выдавать государственные кредиты на индивидуальное жилищное строительство»⁶⁶.

Новации в благоустройстве деревень, как и любые новации, встречали неоднозначно. Старики, привыкшие жить по старинке, сопротивлялись им, как могли, молодежь же тянулась к городской жизни, к недоступным на селе развлечениям и удобствам, чуть оперившись, попросту уезжала в город. Деревни обезлюдевали. Благоустройство сельской жизни несомненно изменило бы многое, кое-кого заставило бы задуматься.

Но я несколько забежал вперед, из начала 1950-х годов перескочил в начало 1960-х. Возвращусь на исходные позиции.

К строительству агрогородов отец приступил еще в сороковые годы на Украине. Посмотреть на одну из новостроек он взял меня. Дома в селе, куда привез меня отец, строились одноэтажные, индивидуальные. Все там казалось каким-то не нашим: хаты не из самана (смеси глины с измельченной соломой с добавлением навоза), а из белого силикатного кирпича, крыши не соломенные, а железные, крашенные суриком. Прямо заграница.

В декабре 1949 года на семидесятилетии Сталина отец докладывал ему как о большом достижении о завершении строительства первого агрогорода в Черкасской области и реализации еще нескольких пилотных проектов в разных концах Украины. Тогда идея отца получила одобрение, в киножурналах показывали «деревню будущего».

И в Подмосковье отец продолжил строительство агрогородов. Задуманное Сталиным и оформленное Постановлением ЦК от 30 мая 1950 года укрупнение колхозов тому благоприятствовало, для переселяемых на новое место крестьян требовались новые жилища⁶⁷.

– Вот и давайте их строить не по-деревенски, а со всеми удобствами, с перспективой на будущее, – призывал отец.

Закладывались фундаменты каменных домов, доставали дефицитное кровельное железо и котлы для отопления, конструировали не магистральную, а непривычную локальную, на несколько домов, канализацию, вкапывали электрические столбы. Ничто не предвещало беды. И тут 18 января 1951 года на проводимом отцом совещании по строительству и благоустройству в колхозах Московской области появился корреспондент «Правды». Он внимательно слушал, как отец расписывал крестьянский быт недалекого будущего, все аккуратно законспектировал и через пару недель прислал отцу записку, предлагая оформить его выступление в виде подвала в «Правде», обстоятельной и, как правило, директивной статьи на треть газетного листа. Отец согласился. 4 марта 1951 года подвал опубликовали под столь же безобидным, как и само совещание, заголовком «О строительстве и благоустройстве в колхозах»⁶⁸. В статье отец, в частности, предрекал, что вскоре «вместо небольших деревень возникнут культурные, благоустроенные колхозные поселки со школами, банями, домами культуры, детскими яслями...» Ничего крамольного.

Сталин прочитал статью в тот же день. Сам он на нее набрел, листая газету, или кто «подсказал»? Как и в случае с продовольственными карточками для украинских крестьян в голодные 1946–1947 годы, обстоятельств этого дела мы не знаем. Но, как и в 1947 году,

грянул гром. Редакции «Правды» указали на политическую недалёковидность, приказали на первой странице, а не в конце номера, как обычно, опубликовать «разъяснение»: статья Хрущева на самом деле не директива, а так, материал для дискуссии. Редакция якобы по недосмотру накануне упустила это примечание. Подобное сталинское «разъяснение» предрекало опалу. Пришлось отцу срочно, в написанном уже 6 марта 1951 года письме Сталину «признавать» совершенные им грубые ошибки, как и в 1947 году, изъявить готовность к немедленному публичному покаянию⁶⁹.

Однако Сталин покаяние не принял, он решил раскрутить «дело» отца по всем знакомым всем еще с 1937 года канонам. 2 апреля 1951 года Политбюро утвердило и разослало по всему Советскому Союзу написанное собственноручно Сталиным закрытое письмо «О задачах строительства в связи с укрупнением мелких колхозов». В нем анонимно осуждались «некоторые партийные работники» – тоже любимый сталинский прием – за «потребительский подход, извращение линии партии и серьезные ошибки в колхозном строительстве». Что же это за ошибки? Оказывается, эти «некоторые партийные работники» занялись «подменой главной, а именно производственной задачи в сельском хозяйстве, задачей немедленного переустройства быта колхозников, что отвлекает основные силы колхозов от решения важнейших производственных задач, должно привести к дезорганизации колхозной экономики и, следовательно, нанести вред всему делу социалистического строительства. <...> Ошибка этих товарищей состоит в том, что они забывают о главных, производственных задачах колхозов и выдвигают на первый план производные от них потребительские задачи, задачи бытового устройства в колхозах, жилищного строительства в деревне... Следует отметить, что аналогичные ошибки допущены также в известной статье т. Хрущева “О строительстве и благоустройстве в колхозах”...» Далее Сталин требует «покончить с неправильным, потребительским подходом к вопросам колхозного строительства», бороться за «дальнейшее повышение урожайности сельскохозяйственных культур, всемерное развитие общественного животноводства и повышение его продуктивности... Капитальные вложения средств и труда колхозников необходимо направлять в первую очередь на развитие общественного хозяйства: строительство животноводческих помещений, раскорчевку земель от кустарников, сооружение каналов, насаждение полезащитных полос...» и еще на многое другое, но только не на благоустройство жизни людей⁷⁰.

Письмо получилось длинным, в нем, кроме всего прочего, Сталин справедливо отмечал, что «вынос большей части приусадебного участка за пределы деревни может испугать его владельцев, вдруг его и вовсе отберут».

Крестьяне с подозрением отнеслись к идее перемещения приусадебных участков за границы деревни. Пока участки рядом с постройками, как бы прячутся между домами, с ними трудно что-либо поделать, а там, в чистом поле... Несомненно, основания для подобных опасений имелись, и немалые. Многие еще помнили коллективизацию. Отец на приусадебные участки и не покушался. Сталин обрушился на отца не за них, а, как и в 1947 году, обвинил в мягкотелости по отношению к крестьянам – не улучшением их быта следует заниматься, а работать заставлять.

18 апреля 1951 года Сталин и Политбюро «по просьбам местных органов» постановили зачитать закрытое письмо об ошибках отца всем коммунистам, «запретив делать какие-либо записи». Если следовать сценарию 1937 года, до ареста оставался всего один шаг. К счастью, отец остался на свободе, но нервы ему потрепали изрядно, а идею агрогородов, саму мысль о том, что крестьяне достойны лучшей жизни, предали анафеме.

Через год, 5 октября 1952 года, в отчетном докладе XIX съезду партии Маленков еще раз пнул отца, отметив в числе ошибок сельскохозяйственной политики «практику создания в колхозах и совхозах подсобных предприятий по производству кирпича, черепицы и других промышленных изделий... отвлекающих их от решения производства сельскохозяйствен-

ной продукции и тормозящих развитие сельского хозяйства»⁷¹. Комментарии, как говорится, излишни.

За что Сталин так ополчился на отца, на человека, которому он, казалось бы, благоволил? Дело в разном отношении к крестьянам. Сталин смотрел на крестьян как на навоз, на удобрение, на котором должна произрасти новая, современная индустриальная Россия. Для этого следует крестьян грабить, грабить и грабить. Вот основная сталинская установка. А тут агрогорода, их строительство в масштабах страны потребовало бы немалых затрат. Сталин отца одернул: «погрязшее в мелкобуржуазной стихии крестьянство» не заслужило достойной жизни, отец со своими прожеками «забегает вперед». Только «одернул». Никаких иных планов он в отношении отца, видимо, не имел. Не только отцу, но и всей нашей семье повезло, мы остались живы. Через год Сталин и вовсе вернул отцу свое расположение, поручил ему, наравне с Маленковым, сделать доклады XIX съезду партии. Маленкову – отчетный, а Хрущеву – об изменениях Устава. 27 октября 1952 года Сталин, в дополнение ко всем имеющимся у него обязанностям, сделал отца еще и членом Бюро Президиума Совета Министров СССР⁷², а 10 ноября 1952 доверил ему, по очереди с Маленковым и Булганиным, председательствовать на заседаниях Президиума ЦК КПСС и его Бюро⁷³.

Дома с заводского конвейера

В Москве еще одной заботой отца стало строительства жилья. Голод москвичей на жилье, страшный неудовлетворимый голод, похуже, чем даже в разоренной войной Украине. С 1917 года строительству жилья все время что-то мешало, сначала Гражданская война, потом восстановление промышленности, затем индустриализация, за ней последовало германское вторжение и снова восстановление экономики. До жилья руки не доходили.

Конечно, и тогда кое-что строили, при заводах-новостройках рабочих «временно» размещали в одно-двухэтажных бараках; в столицах, в первую очередь в Москве, строили чуть побольше. В Москве до войны за год возводилось чуть более ста тысяч квадратных метров жилья. Если считать по минимуму тридцать – тридцать пять квадратных метров, не жилой, а так называемой общей площади, включая кухню, туалет и коридор на квартиру, то получается три тысячи квартир в год, девять – десять тысяч москвичей могли справиться новоселье. На очереди же стояли, только в Москве, почти миллион, а по всей стране... Отец тогда за всю страну не отвечал. В 1949 году, ко времени возвращения отца в Москву, объем ввода жилья учетверился, то есть теперь не десять, а сорок тысяч москвичей имели шанс переселиться в новые квартиры. Но только теоретически, потому что новые квартиры тогда предназначались исключительно для начальства: генералов, министров, прославленных артистов и литераторов, а простой люд довольствовался комнатами в бараках и коммуналах.

За прошедшие десятилетия сформировалось два вида, две технологии жилого строительства: одна для начальства, другая для всех остальных.

В Москве, в центре, многоэтажные элитные дома возводили из кирпича. На улице Горького для их облицовки использовали вывезенный из Берлина полированный гранит. Гитлер заготовил его для сооружения помпезных зданий в честь своей победы, однако гранит в качестве репараций ушел в Москву. В облицованных немецким гранитом домах селились победители, но не немецкие, а советские.

Хорошие дома стояли и на Кутузовском проспекте, по которому Сталин ездил с дачи и на дачу. Тогда он назывался Можайской улицей. На Садовом кольце, между Смоленской площадью и нынешним американским посольством, мне запомнился многоэтажный дом с башенкой на углу, дом академика Ивана Владимировича Жолтовского. Так его называли по имени архитектора.

И конечно, высотные дома – московские тридцатиэтажные «небоскребы». Их после войны стали возводить по личному распоряжению Сталина. Он считал, что к нам зачастят иностранцы, а в Москве нет ни одного «небоскреба», непрестижно. Иностранцы не зачастили, но высотки заложили на Котельнической набережной и на площади Восстания под жилье, остальные оккупировали министерства и гостиницы для тех же мифических иностранных туристов. На Ленинских горах строили небоскреб МГУ. Достался он университету по чистой случайности. Из эстетических соображений архитекторы запланировали на обрыве над Москвой-рекой одно из высотных зданий. Оно красиво смотрелось со стороны Кремля, а с него еще лучше обозревалась раскинувшаяся внизу Москва.

Здание решили строить, но вот только под кого? Ленинские горы тогда и Москвой-то не очень считались – пригород, добираться до которого крайне неудобно, вкруговую через мост у Киевского вокзала, или еще того хуже – через мост у парка Горького. Дорога в один конец занимала более двух часов. Ни метро, ни трамвай, ни троллейбус туда не ходили. Ни министерство, ни гостиницу на выселки не отправишь, разве что дом отдыха организовать?

Тогда же, в 1948 году, когда задумывалось строительство высоток, ректором Московского университета назначили академика Александра Николаевича Несмеянова. Он дружил с сыном Жданова, Юрием, заведующим Отделом науки ЦК. В одном из разговоров Несме-

янов пожаловался Юре, что университет давно вырос из старого здания на Моховой, только под естественные факультеты требуются дополнительные полтора миллиона квадратных метров новых лабораторий, аудиторий, мастерских, не говоря об общежитиях. Студенты ютятся где придется: счастливики – в общежитии на Стромынке, остальных «разбросали» по подвалам и баракам. Юрий Жданов обещал помочь. Университет получил никому тогда не нужную высотку на Ленинских горах.

Все проекты высотных зданий утверждал лично Сталин. По дороге в Кремль и обратно на дачу из окна машины следил за их строительством. Иногда вносил коррективы. Рассказывали, как он поинтересовался, когда же начнут возводить шпиль на почти законченном здании Министерства иностранных дел на Смоленской площади. Проектом никакого шпиля не предусматривалось. Я это хорошо помню, большие фотографии макетов высоток выставлялись в витринах многих магазинов по улице Горького. Вскоре на здание МИДа приделали шпиль. На всякий случай «ошпилили» и остальные высотки.

За пределами Садового кольца, на тогдашних окраинах, строили совсем иначе, чем в центре, «возводили» одно-двухэтажные бараки из сырого леса, реже из неоштукатуренного кирпича. Москва чудовищным «пылесосом» всасывала в себя покидавших нищающие деревни крестьян, рассовывала их по фабрикам, заводам, новостройкам. Новоприбывшим требовалась хоть какая-нибудь крыша над головой, исходя из чего и строили бараки: удобства во дворе или в конце коридора, а в комнатах столько жильцов, сколько физически удастся втиснуть. В окружении бараков четырех-, реже пятиэтажные дома, тоже из неоштукатуренного кирпича, смотрелись хоромами. На их строительство, а предназначались они для местной «аристократии» – директоров заводов, начальников цехов, уходило в среднем по два года. Пока кирпичами выложишь стены, смотришь, и лето проскочило; зимой, в мороз объявляли перерыв, дом «усаживался». В следующий сезон – вставляли окна, двери, устанавливали внутренние перегородки, штукатурили, проводили тепло. Все сохло уже после заселения – пол и двери коробились, штукатурка трескалась. Жильцы обреченно шутили, что капитальный ремонт квартире требуется уже в первый год. Но и такое жилье доставалось редким счастливицам.

Перед отцом стояла та же дилемма, что и на Украине, – если по старинке складывать дома из кирпичиков, на удовлетворение минимальных потребностей москвичей уйдут столетия. Он продолжил начатые еще в Киеве поиски метода промышленного производства жилья по технологии двадцатого, а не девятнадцатого века. Чтобы хоть как-то облегчить положение москвичей, в Москве требовалось строить не четыреста тысяч квадратных метров в год, а два-три миллиона.

Отец начал собирать команду людей творческих, не «чего изволите», а самостоятельно и, главное, нестандартно мыслящих, способных подступиться к делу такого размаха.

Ядро ее составили все те же старые-новые москвичи Садовский и Страментов. В 1938 году они последовали за отцом в Киев, и теперь возвратились в Москву. Я уже упоминал о Страментове. Федор Титович Садовский, по словам отца, «очень квалифицированный инженер, прекрасно разбиравшийся в деле, любивший новые материалы, следивший за иностранной литературой и тесно связанный с учеными, работавшими по железобетону. Единственный его недостаток: как администратор он – неповоротлив. Однако он компенсировал это глубоким знанием своей отрасли и пониманием его задач. Инициатором перехода на сборный железобетон был Садовский. Он предложил собирать дом так, как собирают автомобили»⁷⁴.

Организацию строительства в Москве отец поручил другому своему киевскому соратнику – Николаю Константиновичу Проскурякову. Он показал себя при восстановлении разрушенного немцами Киева, хотя проработал там всего два года. А дальше вот что случилось. Осенью 1947 году Сталин отдыхал в Ялте, в Ливадийском царском дворце. Дворец ему

чем-то не понравился, и он решил переместиться на Кавказ, а заодно прокатиться по Черному морю на недавно полученной по репарациям яхте немецкого гросс-адмирала Деница. У нас ее называли «Ангара». Базировалась «Ангара» в Севастополе. Сталин туда отправился на машине, пригласив сопровождать его специально вызванного из Киева отца. Ранее Сталин возложил на отца в дополнение ко всем иным делам координацию работ по восстановлению Крыма. После депортации в мае 1944 года крымских татар полуостров предстояло не только заново отстроить, но и заселить в основном украинцами из прилежащих украинских областей. Хотя формально Крым оставался под юрисдикцией России, по существу, он отдавался на откуп Украине. Оно и понятно: географически, экономически, а теперь во многом и этнически, он больше тяготел к Киеву, чем к Москве. Отец докладывал лично Сталину, что сделано и что еще предстоит сделать на полуострове.

Разрушенный многомесячной осадой в 1941–1942 годах, Севастополь Сталина строил, восстанавливали его медленно: флот строил под себя, армия – под себя, городские власти с их мизерными ресурсами успели кое-как наладить водоснабжение с канализацией, пустить трамвай, и все. Отец предложил Сталину сконцентрировать ресурсы, сосредоточить все работы по возрождению Севастополя в одном месте, подчинить одному лицу и флотских строителей, и армейских, и гражданских, – только так удастся преодолеть разноречивое и сдвинуть дело. Сталин согласился. На вопрос, кого поставить во главе, отец не без колебаний назвал Проскурякова. Очень уж не хотелось отпускать его из Киева. Создали единое Управление, но передали по подчинению союзному правительству. Несмотря на это, приглядывать за стройкой Сталин поручил отцу. Так что связи его с Проскуряковым не прервались. В 1948–1949 годах из всех областей Украины, и не только Украины, в Севастополь хлынул поток добровольцев-комсомольцев. Без них вряд ли что-либо удалось сделать, после выселения татар Крым только заселялся, рабочих рук не хватало. До перевода в Москву отец раз в два-три месяца навещался к Проскурякову в Севастополь.

В Севастополе Николай Константинович не только собрал в кулак строителей, но и пустил в дело киевский задел – дома собирали из крупных блоков, бетонных или вырезанных в близлежащих карьерах из местного ракушечника, экспериментировали с плитами перекрытий, стен, перегородок. Именно в Севастополе Проскуряков накопил бесценный опыт, в котором так нуждался отец. Проскуряков с делом справился, отстроил Севастополь и в 1952 году перебрался в Москву. Здесь отец, по примеру Севастополя, решил объединить разбросанные по столице многочисленные строительные организации, принадлежавшие министерствам, ведомствам, крупным предприятиям. Как и в Севастополе, они строили под себя, для себя, по своим проектам, планам и технологиям в зависимости от собственного понимания и размера своей мощи. Однако вытащить их из-под контроля центральных ведомств, очень влиятельных ведомств, было непросто.

Отец предложил Проскурякову заняться организацией единого строительного центра столицы. Впоследствии он получит название Главмосстроя. Тандем Садовский – Проскуряков или Проскуряков – Садовский, сочетавший новые научные и инженерные решения с новой организацией строительства, оказался удачным.

Теперь я позволю себе вернуться на десятилетие назад, углубиться в историю вопроса. Еще в тридцатые годы Хрущев с Булганиным попытались собрать на Большой Полянке, в Замоскворечье, из крупных бетонных блоков школу. То был первый опыт промышленного строительства в Советском Союзе⁷⁵. «Мы с этим делом не справились, – вспоминал отец. – Когда школу собрали, в стенах увидели щели. В те щели собака могла проскочить. Пришлось их заделывать. Такой сборки, как на машиностроительном или часовом заводе, не получилось»⁷⁶. Первый блин всегда выходит комом. Чтобы довести новую технологию до ума, требуются знания и настойчивость, вера и везение, энергия и время, много времени.

В 1938 году отца отправили на Украину, потом началась война. Мысль, что бетон, бетонные блоки, балки, панели позволят, если над ними поработать, вырваться из-под кирпичного засилья, покончить с кустарным строительством и перейти к промышленному, конвейерно-поточному возведению зданий, крепко засела у отца в голове. К ней он вернулся на освобожденной от врага Украине.

Начинали не с домов, первым делом восстанавливали добычу угля в Донбассе. Все уперлось в крепление проходо-в-штреков в шахтах, требовалось как-то поддержать кровлю, потолок, чтобы порода не осыпалась, погребая в себе горняков. Обычно ее крепили деревянными или металлическими стойками. В безлесный Донбасс дерево везли издалека, к тому же непросушенное, сырое. Стойки за несколько месяцев гнивали. Металла на такое дело Москва не выделяли. Вот и пришлось изобретать, как в отсутствие дефицитной стали сделать долговечные стойки-подпорки. Тут-то отец вспомнил о своем давнем, по Москве, знакомом профессоре Константине Васильевиче Михайлове, который еще до войны решал задачу упрочнения бетонных колонн с помощью внутреннего каркаса из туго натянутой металлической проволоки или стержней. Результаты обнадеживали, колонны Михайлова выдерживали нагрузку не хуже стальных колонн, при одновременном резком снижении расхода металла. Именно то, что требовалось украинским шахтерам. Потом такие конструкции назовут «напряженно-армированным железобетоном». Отец разыскал Михайлова и попросил его поэкспериментировать с шахтными подпорками, тут требовались не массивные колонны, а прочные и легкие двухметровые столбики, чтобы с ними могли управляться два человека. Михайлов разрешил проблему. Вскоре в шахтах появились железобетонные опоры. Московские «специалисты» из угольного министерства встретили изобретение Михайлова в штыки, они предпочитали крепежные стойки из металла. Соответствующий отдел Госплана даже отказался включать в план производство железобетонных стоек, но и металла шахтерам по-прежнему не выделял. Отцу пришлось апеллировать к Сталину. Под его нажимом новое дело, пусть со скрипом, но пошло. (Справедливости ради отмечу, что стальные шахтные опоры лучше, легче и прочнее и деревянных, и железобетонных, и отец это знал. Поэтому, когда со сталью полегчало, они вытеснили из шахтных штреков и дерево, и бетон.) За железобетонными шахтными стойками последовали железнодорожные шпалы. Потребность в них исчислялась миллионами. Отступая, немцы прицепляли к последнему уходящему на запад паровозу огромный крюк, и он, волочась между рельс, буквально разрывал деревянные шпалы на куски.

Привезенные издалека деревянные шпалы сушили, пропитывали битумом. На все это уходили долгие месяцы. Тут снова выручил профессор Михайлов и его железобетон. И снова пришлось преодолевать сопротивление «специалистов», доказывавших, что железобетонные шпалы слишком жесткие, при большой скорости могут привести к аварии поезда. Михайлов доказывал обратное. Дело с места не сдвигалось, железнодорожное полотно продолжали мостить деревом. Отец успел переехать в Москву, а споры все продолжались. Теперь его волновали другие проблемы, но об изобретении профессора Михайлова отец не забыл. Как-то во время визита в Чехословакию – отец поехал туда поездом – он с удивлением отметил, что чехи «пользуются железобетонными шпалами, причем делают их значительно лучше, чем мы»⁷⁷.

Бетонные шпалы достались чехам в наследство еще от Австро-Венгерской империи, где их применяли с 1896 года. Перед Второй мировой войной железобетонные шпалы широко распространились по всей Европе. Так что отец, вернее профессор Михайлов, изобретал «велосипед», а министерские чиновники с опозданием на полвека боролись с этим «велосипедом». Так же, как их предшественники веком раньше боролись с первым паровозом на российской земле, страшили, что, завидев такое безобразие, коровы взбесятся.

Первые железобетонные панели пришли в советское жилищное строительство тоже с Запада. После Второй мировой войны самым уязвимым местом оказались деревянные перекрытия между этажами. Камнем преткновения и тут стало непросушенное дерево. Доски и балки требовалось выдерживать на солнышке два года, а уж затем пускать в дело. Или строить специальные сушильни с печками и вентиляторами.

После войны о сушилках и не мечтали, а человека, предложившего бы задержать стройку на пару лет для просушки дерева, сочли бы сумасшедшим или того хуже – вредителем. Деревянные перекрытия настилали, как говорится, с колес – срубили дерево, разрезали его на доски и тут же пустили в дело. Результаты спешки – а как не спешить, если города и села почти полностью разрушены войной, – проявлялись очень скоро. На сырой древесине поселялся грибок, за два-три года он превращал балки в труху, приходилось их менять. Проблема перекрытий быстро выросла в разряд государственных. Восстановление городов становилось бессмысленным: не успеешь дом построить, а ему уже требуется капитальный ремонт. И так без конца.

Как-то во Львове – отец отправился туда в 1944 году, сразу после освобождения города от немцев, – проезжая мимо полуразрушенного дома, он сквозь дыры в стенах увидел необычные перекрытия между этажами, не деревянные – балочные, а сплошные из армированных керамических плит. Отец остановил машину и, невзирая на предупреждения сопровождавших его военных о минах, по битому кирпичу полез внутрь развалин, поднялся на второй этаж и долго разглядывал польскую диковинку. По возвращении в Киев отец послал во Львов строителей с заданием скопировать новую технологию производства перекрытий. Началась замена дерева на керамику, еще не бетон, но уже что-то.

Через пару лет, путешествуя по Германии в 1946 году, отец наткнулся на еще более удивительную конструкцию. Немцы перекрывали пролеты зданий относительно легкими длинными железобетонными плитами, с круглыми дырками по всей длине. Он глазам своим не поверил. Это сейчас такие плиты увидишь на любой стройке, а тогда отец ощутил себя Колумбом.

Он попросил наших военных разузнать, где производится это чудо. На следующий день разыскали завод по производству плит. В нем стояли готовые к работе станки, с уже натянутой арматурой каркаса, готового к заливке бетоном. Нашлись рабочие и инженеры, умеющие обращаться со станками. В присутствии отца они изготовили несколько плит; натянули на специальную станину толстую проволоку, уложили в рядок густо смазанные тавотом трубы, залили все бетоном, включили вибратор и через несколько часов, после «созревания» бетона, оставалось вынуть из пустот трубы и можно отправлять панель на стройку. Отец пришел в восторг: бетон – не керамика, он не колетса от удара и нагрузку выдержит почти любую. Такие перекрытия можно ставить и в жилые дома, и в производственные здания.

Станки для производства панелей разобрали и отправили в Киев. Там их обмерили, вычертили чертежи и запустили в производство сначала на Украине, а следом и по всей стране. Проблема древесного грибка снялась с повестки дня. После войны при восстановлении Киева появилось еще одно новшество: каркас дома из железобетонных столбов и балок, но стенные проемы внутри все еще заполнялись кирпичами. Нагрузка теперь приходилась на балки, и кирпичи стали делать большего размера, с круглыми дырками, а следовательно, легкими. Итак, жилой дом постепенно обретал новую ипостась – опирался на колонны, этажи перекрывались бетонными плитами, но оставалась еще одна неразрешенная проблема – внутренние стены, обычные перегородки между комнатами и квартирами, весь дом расчерчен перегородками. Их выкладывали из кирпича или сбивали из досок, потом штукатурили, разравнивали, сушили, шпаклевали, белили. Огромный труд, а стены, как ни старайся, получались горбатыми, со временем покрывались трещинами. Сухая штукатурка,

ее я упомянул выше, всей проблемы не решала, ее навешивали на стену-перегородку, а не устанавливали вместо нее.

Приезжая из Киева в Москву, отец обязательно шел на строительную выставку. Уже в конце сороковых годов, перед самым отъездом с Украины, в одном из залов выставки он наткнулся на идеальную межкомнатную перегородку – плиту размером в полную стену, гладкую, без единой трещины. На ней висела табличка: «Перегородка внутренняя гипсовая. Автор: инженер Николай Яковлевич Козлов».

«Я ходил около его стены, поглаживал ее и любовался конструкцией, – пишет отец в своих мемуарах. – Потом постарался встретиться с Козловым, высказал ему много приятного, он нашел “жемчужину” для строительства»⁷⁸.

Похвалами отец не ограничился. Панель-перегородка, конечно, замечательная, но... нельзя ли заменить деревянный каркас на железобетонный, избавиться от древесины, от грибка и гниения и, что еще важнее, – вместо гипса, легко впитывающего влагу из воздуха, требующего поддержания постоянной температуры (где такое видано на стройке!), в качестве материала перегородки использовать неприхотливый цемент. Козлов согласился попробовать, и вскоре на свет появилась новая цементная перегородка.

Так что, переехав в Москву, отец представлял себе в общих чертах, что нужно сделать, как перейти в Москве от штучного строительства к промышленно-заводскому производству домов. В Москве отец встретил единомышленников. И здесь группа энтузиастов экспериментировала с панельными домами. Еще в 1947–1948 годах один такой дом соорудили на Соколиной горе. Затем в 1948-м начали возведение целой «панельной улицы» на Хорошевском шоссе. Проектировал улицу 38-летний архитектор Михаил Васильевич Посохин. Бетонные панели конструировал еще более молодой инженер-строитель Виталий Павлович Лагутенко⁷⁹.

Вскоре они войдут в команду отца. Собрав вокруг себя киевлян и москвичей, профессионалов-единомышленников – и каких профессионалов, – отец не сомневался в успехе. Однако новое потому и новое, что рождается в муках. С первой преградой отец столкнулся на первом же шаге. Чтобы развернуть массовое строительство жилья на основе новой поточной технологии, требовалось одобрение Госстроя СССР, там утверждались нормы, без которых строитель не имеет права и шагу ступить. Производство строительных материалов, а значит, и железобетонных плит, регулировал тоже Госстрой. Отец не сомневался в успехе, ведь председатель Госстроя Константин Михайлович Соколов – грамотный и разумный инженер, к тому же его знакомый еще с тридцатых годов. Тогда Соколов со своим напарником Д.И. Соколовским изобретали насос для непрерывной подачи на строительную площадку вязкого бетонного раствора и, когда настала пора внедрения, пришли за помощью к Хрущеву. Молодые люди отцу понравились, и он уже не выпускал их из виду. После окончания первой очереди метро отец предложил Соколову, с повышением, и весьма существенным, поучаствовать в реконструкции Москвы. В 1938 году они расстались. Отец уехал на Украину, а Соколов стал сначала членом Комитета по делам строительства при Совнаркоме СССР, а затем и его председателем.

Теперь уже отец обращался к своему старому приятелю Соколову за помощью, просил одобрить его план построить в Москве в качестве эксперимента два завода по производству панелей и других железобетонных деталей для сборки жилых домов. Соколов встретил предложение отца в штыки. Еще со времен строительства метро он примыкал к лагерю монолитчиков. Строители, такое нередко случается в технике, делились на кланы. Бетонщики враждовали с кирпичниками, вместе они воевали с чурочниками-деревянщиками, каждый отстаивал «неоспоримые преимущества» своего метода возведения домов и не находил ни одного доброго слова в адрес оппонентов-конкурентов. Бетонщики внутри клана тоже не ладили между собой. Монолитчики исповедовали отливку стен здания на месте, на строй-

площадке, а сборщики считали, что легче и дешевле формировать панели из того же бетона на заводе, а сам дом собирать из готовых деталей. У каждого имелись веские доводы в свою пользу и отсутствовало желание выслушивать оппонентов. Отец помнил, что Соколов – монолитчик, но уповал на его благоразумие государственного чиновника и инженерную, я бы сказал, порядочность. Уповал напрасно. Сколько отец ни убеждал Соколова, ничего не помогало. В подтверждение своей позиции последний ссылаясь на США, он только что съездил туда и не видел в Америке сборного железобетона, везде монолитный. А тут какие-то Садовский с Лагутенко...

Действительно, в Америке до последнего времени из сборного железобетона дома не строили, там из бетона возводят небоскребы и подземные армейские бункеры, а это уникальные сооружения и по архитектуре, и по прочности. Сборные конструкции тут неприменимы. Массовое строительство доступного жилья в США панельное, но дома там одно-, двух-, реже трехэтажные, и панели используются легкие, не бетонные, а сэндвичи-бутерброды из двух фанерных листов со стекловатой между ними для утепления.

Любопытная деталь: в 1995 году ко мне обратилась одна американская строительная фирма. Они разработали, по их словам, невиданную ранее технологию изготовления на заводе бетонных коробочек-комнат, и из таких кубиков складывают теперь жилые дома. По их технологии в США построили несколько тюрем, но широкого распространения она не получила, фанерные панели легче, дешевле и привычнее. Фирма рассчитывала заинтересовать своим изобретением россиян, они, в отличие от американцев, строят многоэтажные многоквартирные дома и смогут оценить новинку по достоинству. Я им ответил, что они запоздали на полвека, в Советском Союзе подобным образом строят дома с начала пятидесятых годов. Мои собеседники не поверили и даже обиделись. Как это американцы оказались позади русских?

А вот в Англии сборный железобетон прижился. Технологии панельного строительства жилых домов помогли англичанам отстроить после войны разрушенный немецкими бомбардировками Лондон. Им, как и россиянам, приходилось разрешать острейший жилищный кризис. Сходные проблемы и сходные технологии. Так или иначе, но Соколов отказал отцу, не помогло даже членство в Политбюро. Госстрой в 1950-е годы курировал Берия, и за его спиной Соколов чувствовал себя абсолютно неприступным. Отец зашел с другой стороны, обратился за поддержкой к другому своему давнему знакомому, профессору Всеволоду Михайловичу Келдышу. Он слыл самым большим спецом по железобетону, участвовал в строительстве канала Москва – Волга, московского метро, и его мнение, теоретически, могло повлиять на позицию Госстроя. Но Келдыш – тоже монолитчик и специализировался на сооружении стволов шахт. Отец ушел от него несолоно хлебавши.

Остался последний шанс – апеллировать к Сталину. В то время разгоралась борьба с космополитизмом, низкопоклонством перед Западом. «Сталина раздражало, когда оппоненты возражали против новинок, доказывая, что за границей такого нет. Я знал эту черту Сталина и решил ее использовать, сделав упор на возражения Госстроя. Я попросил Садовского написать докладную на мое имя с полными инженерными расчетами, опровергавшими стародавние методы. Записка получилась убедительной. В ней обосновывалась расчетами необходимость строительства двух заводов сборного железобетона производительностью от восьмидесяти до ста двадцати тысяч кубометров (по тем временам баснословный объем. – С.Х.). Один завод предполагалось построить на Красной Пресне, близ Москвы-реки, другой – в Люберцах.

Добавив от себя личное письмо, я отправил все Сталину. Я написал, что в Госстрое ссылаются на отсутствие за границей технологии сборного железобетона, поэтому и нам советовать сюда свой нос не советуют.

– Товарищ Сталин, я вам послал записку, – напомнил я ему через некоторое время.

– Я вашу записку читал, – ответил он.
– А приложение к ней докладную Садовского. Прочли? – уточнил я.
– Я и ее полностью просмотрел, – голос Сталина звучал поощрительно.
– Каково же ваше мнение? – я настаивал.
– Очень интересная записка, расчеты я считаю правильными и вас поддерживаю, – заключил Сталин.

Мою записку Сталин переправил в Госплан, и мы приступили к строительству крупнейших в мире предприятий по производству сборного железобетона»⁸⁰.

Теперь успех зависел от самого отца, от его соратников, от способности инженеров разрешить сонмище технических проблем. Во всяком новом деле, что ни шаг, то неурядица. Начали с оборудования и технологии поточного производства колонн, стен, перегородок – основных структурных элементов новых жилых домов. Ни того, ни другого в мире не производили, все приходилось изобретать самим. Строители умели класть кирпичи, крыть крыши, но изготавливать панели на заводах...

Отец не забывал о своей первой неудаче, когда собранный из блоков дом светился щелями. Новые детали домов требовалось производить не по-строительному, не тяп-ляп, а с инженерной точностью, как делают станки. За помощью отец обратился к конструкторам Московского завода металлорежущих станков «Красный пролетарий», расположенного неподалеку от Ленинского проспекта.

Поначалу не очень ладилось, одно дело – токарный или зуборезный станок, а тут им предложили сконструировать автомат, сваривающий из арматуры и проволоки стальной каркас многометровой колонны или стеной панели. Отец проводил на «Красном пролетарии» все свои выходные, выслушивал скорее не доклады, а сомнения разработчиков, наблюдал, как вручную вяжут проволокой каркас, потом сваривают, тоже вручную. «На “Красном пролетарии” мне нравилось. Чистые светлые цеха, невиданные станки и нескончаемые обсуждения с заводчанами: как натягивать проволоку, как ее сваривать, чтобы при изменении температуры, из-за разности в коэффициентах расширения стали и бетона она не растрескалась»⁸¹.

Шаг за шагом начинала вырисовываться конструкция новой машины, и вот уже станок-автомат сам собирает скелет колонны, сам сваривает стыки арматуры, перед каждой новой операцией поворачивая ее вокруг оси и выдает, наконец, готовый продукт. Полдела сделано, есть скелет, но самой колонны еще нет. После заполнения каркасов колонн и плит бетоном, чтобы не оставалось пустот, для уплотнения заливки требовалось жидкий раствор подвергнуть вибрации. Следующая операция: пропаривание жидкой бетонной плиты, а после пропарочной, для созревания, плиту необходимо было выдержать в специальной камере при определенной температуре и влажности. Вибрационные столы, пропарочные камеры и все остальное еще только предстояло изобрести, а затем воплотить в металл и довести до рук.

А сколько встретилось на пути заводчан «мелочей», без которых не сдвинется с места никакое большое дело. Долго бились над специальными роликовыми конвейерами для перемещения еще жидких и полужидких бетонных заготовок. Конвейерами, которым не страшны ни песок, ни грязь. Другая «мелочь» – опалубка. Раньше ее сколачивали из досок, а по использовании доски выбрасывали. Конвейерное производство такого расточительства не приемлет. Перешли на сборно-разборные металлические формы, но бетон к стали прилипает намертво. Пришлось разработать специальные смазки. Всех проблем не перечислить, но постепенно они разрешились, технология изготовления деталей домов, если можно называть деталями многометровые колонны и плиты, становилась все больше похожей на заводскую.

Только научились «собирать» колонны, как Лагутенко предложил от них отказаться, доказал, что можно собирать дом без каркаса, из одних стеновых панелей. Получалось и дешевле, и проще. Отец долго сомневался, как бы такой дом не рассыпался, как карточный домик, но Лагутенко стоял на своем и настоял. Упомянутый выше инженер Козлов тем временем изобретал технологию изготовления очень легких ребристых стеновых панелей с утеплением из шлаковаты. Он же предложил конвейер железобетонного проката с вибрационной трамбовкой: с одного конца на него подавались сваренные на станках краснопролетарцев каркасы, затем заливался бетонный раствор, все это вибрировалось, уплотнялось, и, как положено, с другого конца конвейера ритмично сползали готовые плиты. Их подхватывали краны и переносили на склады для созревания.

«Козлова можно сравнить лишь с Михайловым, – вспоминал отец в беседе с узбекскими строителями 4 октября 1962 года. – Но Козлов обошел Михайлова, Михайлов застыл на виброштампе, а Козлов придумал вибропрокат. Михайлов в качестве заполнителя применял, как принято у всех бетонщиков, – гравий, а Козлов вместо гравия использовал песок, что сделало бетон монолитнее. Я знаю Михайлова уже тридцать лет и отношусь к нему с уважением. Но ему не удалось сделать того, чего добился Козлов.

Михайлов предложил делать ребристую плиту – ребрами вверх – и трамбовать ее штампом. Но у бетона текучесть малая и трудно получить четкие ребра. Козлов поступил по-другому, он перевернул плиту и прорезал в ней щели. Получилось замечательно. Я видел, как он это делает»⁸².

Так три «кита» – Лагутенко, Козлов и Михайлов – вступили в жесткую конкуренцию между собой. Отец же по воскресеньям зачастил то в Люберцы, то на Красную Пресню. Я повсюду таскался за ним. На домостроительных комбинатах мне нравилось меньше, чем на «Красном пролетарии». Откровенно сказать, совсем не нравилось. Я изнывал часами, слушая вполуха разговоры отца с изобретателями, тут же, около огромного квадратного, залитого бетонным раствором формовочного стола. На нем вибрировали стенные проемы сборных, как из детских кубиков, домов. В соседнем цехе по привезенной отцом из Германии технологии производили межэтажные перекрытия. Там, в Люберцах, я приобщался к творчеству, вместе с изобретателями новых технологий дышал цементной пылью, месил с отцом грязь на заводских дворах.

Чтобы монтировать громоздкие и тяжелые панели, поднимать их на высоту хотя бы пятого этажа, требовались краны. Много больше кранов, чем при возведении кирпичных зданий, когда за один-два подъема обеспечивали кирпичами целую бригаду и на полную смену. Пришлось налаживать серийное производство башенных кранов. Наладили и его.

Не обходилось и без накладок. Главным бичом продолжала оставаться точность сборки. Как ни старались строители, но высокой точности не могли добиться еще не один год. Недоставало производственной культуры. Между плитами, особенно по углам дома, постоянно образовывались щели. Их замазывали цементом, заливали специальной мастикой, но цемент отваливался, мастика летом на жаре плавилась. От жильцов пошли жалобы: их квартиры через щели заливало водой, продувало ветром, а зимой и вовсе вымораживало. Недостатки строители устраняли, но тут же возникали новые и в самых неожиданных местах. Такая «притирка» естественна в любом новом деле, и самолет братьев Райт далеко не сразу стал комфортабельным лайнером. Все это так, вот только новоселов, получивших квартиры в дефектных домах, логика не утешала.

Постепенно дома становились лучше, с улицы больше не задувало, теперь грешили на звукоизоляцию. Происходившее в соседних квартирах, на соседних этажах, даже соседних подъездах, становилось достоянием всего дома. С этой напастью как только ни боролись: пустоты в плитах заполняли поглощающей звук стекловатой, устанавливали специальные звукопоглощающие прокладки между плитами. Все как мертвому припарки.

Наверное, проблема звукоизоляции не имеет инженерного решения. По-своему кардинально расправились с ней американцы. В США каждая семья живет в отдельном панельном коттедже, в изолированном микрорайончике, где с восьми вечера до восьми утра запрещается шуметь, нарушать покой жителей. Внутри дома, в семье, проблема звукоизоляции решается полюбовно, телевизор можно слушать через наушники, а в общем застолье не участвует разве что покойник.

С введением в строй Люберецкого и Краснопресненского комбинатов в стране началась домостроительная техническая революция, родилась технология массового, доступного по цене производства квартир, появилась новая отрасль промышленности: сборное домостроение. Приведу несколько цифр: за 1945–1948 годы в Москве построили 522 тысячи квадратных метров жилья, в одном 1949-м – 405, в 1950-м – 535, в 1951-м – 735, а в 1952 году ввели в строй 782 тысячи квадратных метров площадей.

Здесь мне приходит на ум сравнение с автомобилестроением. До Генри Форда карета с бензиновым мотором – так автомобиль выглядел в первые годы – не столько служила людям, сколько забавляла горстку людей богатых и падких на все новое. Собирали новое средство передвижения вручную, каждый умелец-изобретатель на свой лад. Генри Форд не изобрел автомобиль, изобрели до него, он придумал конвейер сборки автомобилей и в двадцатые годы XX столетия пересадил в свой «Форд-Т» американцев, а затем и остальных жителей планеты. Форд сделал автомобиль доступным любому и тем самым изменил лицо мира.

Панельное домостроение, бетонное советское или фанерное американское, реализовало мечту простых людей о приличном жилье. Оно тоже навсегда изменило мир.

Конечно, и сегодня никто не запрещает за особую цену приобрести индивидуальный, ручной сборки «роллс-ройс» или размалевать и разукрасить собственный серийный автомобиль так, что родная мама, то есть завод-изготовитель, не узнает. Никто не возбраняет за свои деньги, если они конечно есть, возвести дворец, или, если денег нет, своими руками построить по собственному проекту «шалаш». Но эти исключения только подтверждают, что мы живем в эру массового стандартизованного производства.

Кого можно назвать создателем строительной индустрии? И профессора Михайлова, и инженера Козлова, и строителя Лагутенко, и архитектора Посохина, и Проскурякова с Садовским, и Хрущева конечно. Все они – отцы-основатели, вместе со многими другими, неназванными, и никто в отдельности. Создание новых, изменяющих лицо мира технологий не под силу индивидууму. Только коллектив изобретателей, менеджеров-организаторов, технологов, если к тому сложатся благоприятные условия, может добиться успеха.

Все течет, все изменяется. Как далеко в прошлое ушло время, когда первые сборные пятиэтажки без лифта, без мусоропровода, с квартирами без прихожих, площадью в 25 квадратных метров, с совмещенным санузлом, с потолком 2 метра 70 сантиметров, но без коммунальных соседей, представлялись новоселам раем, а если не раем, то несомненным достижением.

Теперь мало кто помнит, почему выбрали пять этажей, а не семь или, скажем, три. Тому предшествовали скрупулезные расчеты с целью сэкономить рубль, сотню, тысячу, миллион, чтобы на них выстроить еще одну квартиру, еще один этаж, дом или даже квартал. Баталии, с участием самого Хрущева, предваряли решения о высоте потолков, размере кухни и совмещении «удобств». Пять этажей – это максимальная высота, на которую вода (и в водопроводе, и в отоплении) подается без подкачки, то есть без установки в подвалах дополнительных насосов. На пятый этаж под силу подняться по лестнице даже немолодому человеку, и можно сэкономить на лифтах. Мусор с пятого этажа можно вынести на помойку в ведре, что исключает затраты на мусоропровод. К тому же пятиэтажки по тем меркам считались достаточно высокими (вспомним, что в предыдущие годы жилые дома-бараки строили одно-двухэтажными), сравнительно комфортабельными и максимально дешевыми. Срок службы

им отводился 25 лет. За эти годы планировалось в достатке понастроить более комфортабельное жилье, а отслужившие свое пятиэтажки снести. На деле они подписали себе смертный приговор еще в начале 1960-х. Массовая застройка сместила критерии эффективности, теперь в них превалировали не затраты на возведение самого дома, а стоимость инфраструктуры: прокладки дорог, водопровода, тепловых магистралей, канализации, электричества. Пятиэтажки занимали все больше пространства, на них больше не удавалось экономить, и с 1962 года, отец тогда еще оставался у власти, начинают строить девятиэтажные и более высокие дома. Но это уже другая история, и я о ней расскажу в свое время.

Пятиэтажки же, отслужив четверть века, давно выслужив свой срок, остались. Их презрительно называют «хрущобами», или чуть приятнее моему уху – «хрущевками». Мне кажется, они того не заслужили. Ведь и первый в мире народный автомобиль «Форд-Т» можно обозвать колымагой. Он, по современным меркам, и есть колымага. Вряд ли кто-либо, кроме коллекционеров, захочет на нем прокатиться.

Но дело сделано: как «Форд-Т» обрел свое место в экспозициях мировых музеев, так и сборные пятиэтажки, изменившие жизненный уклад миллионов людей, символ нового, народного домостроения, тоже заслуживают своего музея.

1953 год Сталин умер

В 21 час 50 минут 5 марта 1953 года Сталина не стало, в стране началась новая эпоха. Собственно, она наступила даже несколько раньше – со 2 марта, с самого начала его болезни, и врачи, и соратники понимали: Сталин больше не жилец, и начинали приноравливаться к жизни без него. Члены Бюро Президиума ЦК⁸⁴, как вспоминал отец, попарно дежурили на Ближней даче в Волынском: Берия с Маленковым – днем, а по ночам Каганович с Первухиным, Ворошилов с Сабуровым, отец с Булганиным. Последние, в меру досаждая врачам вопросами, отсиживали свои часы у постели умирающего, а вот Берия времени попусту не терял. Он то и дело уводил Маленкова на пустовавший, когда-то построенный для вышедшей замуж дочери Сталина Светланы, второй этаж. Там, в затхлых, давно не проветривавшихся комнатах, решалась судьба страны. Главные определяющие – так отец охарактеризовал Берию и Маленкова.

Уже 3 марта, когда не осталось никаких сомнений, что Сталин⁸⁵ фактически, пусть не физически, но политически мертв, Берия⁸⁶ с Маленковым⁸⁷ наконец-то собрали Бюро Президиума ЦК, предложили опубликовать сообщение о его болезни, начав тем самым готовить народ к неизбежному. Одновременно договорились созвать на следующий день Пленум ЦК и утвердить на нем новое распределение ролей, которое еще предстояло выработать.

К 3 марта в высшем руководстве определились две центральные фигуры: явная – Берия и потенциальная – Хрущев. Между ними – слабовольный Маленков, последние дни склонявшийся на сторону Берии. Основным, хотя и весьма относительным союзником отца можно назвать пассивного Булганина. Они сдружились еще в тридцатые годы, когда Булганин⁸⁸ возглавлял Моссовет, а отец – Московские обком и горком партии.

Остальные члены Бюро Президиума ЦК, в том числе попавшие в сталинскую опалу, но пока еще не растерявшие ореола вождей Ворошилов⁸⁹ и Молотов⁹⁰ с Микояном, довольствовались ролью статистов. Молотова Сталин записал в американские шпионы, Ворошилов числился в английских, чей шпион Микоян, вождь пока не решил.

Берия не сомневался, что Анастас Микоян, Лазарь Каганович, Максим Сабуров⁹¹ и Михаил Первухин⁹² без колебаний поддержат победителей, первые два – по складу своего характера, остальные – в силу неустойчивости положения, они только обживались в высшем ареопаге страны. Ворошилова же в расчет не принимали уже давно.

Итак, получив от товарищей формальное «добро», Берия с Маленковым весь вечер 3-го и утро 4 марта на втором этаже сталинской дачи кроили и перекраивали состав нового руководства страны, нового Президиума ЦК, нового правительства. К ими же назначенному сроку они не успевали и под предлогом, что не все члены ЦК успеют добраться до Москвы, а Сталин еще дышит, перенесли заседание Пленума ЦК с 4 на 5 марта. Никто не возразил.

Днем 4 марта, во время своего дежурства, Маленков вызывал на дачу Сталина заведующего своим секретариатом А.М. Петраковского и продиктовал ему состав Президиума ЦК и Совета Министров. Отпечатанные в Кремле бумаги просмотрел Берия и додиковал Маленкову последние изменения. Маленков аккуратно записал, как он привык записывать за Сталиным. Министр внутренних дел Н.П. Дудоров на июньском (1957 г.) Пленуме ЦК КПСС сообщил, что при обыске сейфа бывшего помощника Маленкова Суханова, арестованного по уголовному делу о хищении облигаций выигрышного займа, в числе других бумаг они обнаружили написанные от руки почерком помощника Маленкова Петраковского списки

будущего руководства страны с собственноручными поправками Маленкова⁹³. Думаю, что Берия неслучайно избрал сталинскую манеру диктовать Маленкову. Тем самым он расставлял акценты, определял, кто есть кто. Он уже ощущал себя властителем страны и одновременно понимал, что ему, человеку из органов, да еще кавказцу, сразу претендовать на высшие посты в государстве и партии не то чтобы опасно, но преждевременно. Всему свое время. Во главе правительства пока постоит Маленков. После того как Сталин поручил Маленкову сделать за себя отчетный доклад на XIX съезде партии, последний обрел статус наследника. Вот пусть и наследует, никто в Президиуме и на Пленуме ЦК против воли Сталина не пойдет. В том, что Георгий Максимилианович, «Егор», будет следовать за ним как нитка за иголкой, Берия не сомневался. Более удобного главы правительства и представить себе невозможно.

Итак, из двух сил, двух политических фигур – отца и Берии – Маленков выбрал ту, что ему казалась посильнее, хотя он понимал: один неверный шаг, и Лаврентий Павлович сотрет его «в лагерную пыль».

Берия рассчитал все. Булганина они сделают министром вооруженных сил, там он не навредит, да и маршалы его не уважают. Молотов, Микоян, Каганович останутся заместителями у Маленкова, на вторых, но почетных ролях. Сабурова с Первухиным Берия в расчет не брал, их имена у народа не на слуху. В общем, картина вырисовывалась стройная, если бы не Хрущев. Его следовало нейтрализовать. Отношения у отца с Берией внешне складывались дружеские, но только внешне. После смерти Сталина они неизбежно становились соперниками. Оба это хорошо понимали.

Открыто выступить против отца Берия пока опасался и решил предложить ему второй оставшийся вакантным, высший пост секретаря ЦК КПСС. Правда, формулировку Берия сочинил с подвохом, отец и так числился секретарем ЦК. На XIX съезде Сталин упразднил в ЦК должность генерального, или первого секретаря, «демократично» заметив, что в секретариате все на равных. Но отец – не Сталин, и за лидерство ему еще предстояло побороться. До сегодняшнего дня он только числился секретарем ЦК, а работал в Московском комитете. Теперь отцу, согласно предложению Берии, предлагалось «сосредоточиться» на работе в ЦК, одновременно уйти из МК и МГК и тем самым «потерять» Москву. А в условиях нестабильности в высшем руководстве страной контроль над столицей ох как важен. Кто владеет Москвой, в конце концов подчинит себе и Россию. К тому же своих людей у отца среди секретарей ЦК пока не имелось. Подбор Секретариата Берия с Маленковым оставили за собой. Более того, на заседаниях Президиума ЦК, по предложению Сталина, с недавнего времени председательствовал глава правительства. При таком раскладе влияние отца, по крайней мере на первых порах, не только не возрастало, а наоборот, уменьшалось. Пока он обоснуется на новом месте, начнет прибирать к своим рукам людей, драгоценное время и утечет, а вместе с ним утечет и реальная власть.

Мне представляется, что в обстоятельствах неуверенности и спешки тех дней, невозможности коренных перемен, Берия рассчитал все идеально. Активность Берии очень беспокоила отца, но что он мог поделать? Берия его опередил, и опередил не сегодня. Свои отношения с Маленковым он выстраивал все последние годы. Тандем Берия – Маленков образовался еще полтора десятка лет назад, до войны. Владимир Михайлович Шамберг, зять Маленкова, сын его ближайшего друга и заместителя в ЦК ВКП(б) Михаила Абрамовича Шамберга, внук Соломона Абрамовича Лозовского (С.А. Дризо), члена ЦК, начальника Совинформбюро, заместителя министра иностранных дел, в 2004 году рассказывал мне, что Георгий Максимилианович и Лаврентий Павлович нашли друг друга в августе 1938 года, сразу после перевода Берии в Москву заместителем наркома внутренних дел. Они окончательно «сдружились» 10 апреля 1939 года, когда вместе по приказу Сталина «брали» в кабинете Маленкова, вызванного «на разговор» в ЦК, еще недавнего прямого начальника

и Берии, и Маленкова, секретаря ЦК и наркома внутренних дел Николая Ивановича Ежова. До 10 марта 1939 года в этом цексовском кабинете сидел сам Ежов. Маленков в нем только начинал обживаться. В секретари ЦК его избрали вслед за освобождением Ежова от этой должности 22 марта. Сталин нервничал. Он всегда нервничал, когда арестовывали кого-либо, кто, пусть чисто теоретически, мог арестовать его самого.

Отец в тот день ужинал у Сталина. Он заметил, что хозяин дома то и дело поглядывал на телефон. Наконец раздался звонок, Сталин вышел из-за стола и взял трубку. Не перебивая, выслушал говорившего и с видимым облегчением произнес в ответ пару слов, что-то вроде: «Да, хорошо». Вернувшись к гостям, он подчеркнуто равнодушно проинформировал: «Звонил Берия. Все в порядке, Ежова арестовали, сейчас начнут допрос».

С того дня Сталин приблизил к себе Берию и Маленкова. Перед войной, по мнению Шамберга, они, не будучи даже членами Политбюро ЦК, стали, по существу, самыми влиятельными людьми в сталинском окружении. И тем не менее, по свидетельству Микояна: «Маленков очень боялся Сталина и, как говорится, готов был разбиться в лепешку, чтобы неукоснительно выполнить любые его указания... Когда Сталин говорил что-то, он немедленно доставал из кармана френча записную книжку и быстро-быстро записывал указания товарища Сталина»⁹⁴.

С началом войны Сталин ввел их обоих в состав Государственного Комитета Оборона, неконституционного властного органа, стоявшего над правительством и даже над Политбюро ЦК. Маленков цепко держался за Берию, а Берия, в свою очередь, поддерживал Маленкова и до войны, и в войну, и после нее.

Несколько слов о семье Шамбергов. Шамберг-старший вступил в партию в 1917 году пятнадцатилетним юношей. После Гражданской войны учился вместе с Маленковым в Московском высшем техническом училище имени Н.Э. Баумана, там они не просто дружили, но и сотрудничали в парткоме училища. В 1925 году, отучившись всего год, Шамберг вернулся к партийной работе сначала в Туле, а затем в Одессе. Маленков остался в Москве. В 1930 году Каганович взял его в Московский городской комитет партии заведующим отделом, а уже в 1934 году Маленков возглавил «ежовский» отдел руководящих партийных органов в ЦК ВКП(б). В начале 1936 года он пригласил Михаила Абрамовича Шамберга к себе первым заместителем.

Летом 1945 года, еще студентом, тогда ему исполнилось 19 лет, Владимир Михайлович Шамберг женился на дочери Георгия Максимилиановича Воле. Воля Маленкова и Володя Шамберг знали друг друга с шестнадцати лет, и женитьба стала естественным завершением их совместного времяпрепровождения. Молодой Шамберг переехал к Маленковым, они жили с родителями жены в квартире на улице Грановского, выходные проводили на даче Маленкова.

В начале 1946 года над головой Георгия Максимилиановича сгустились тучи. В апреле 1946 года Сталин арестовал, а 10–11 мая Военная коллегия Верховного суда СССР осудила на значительные сроки главнокомандующего военно-воздушных сил маршала Александра Александровича Новикова, министра авиационной промышленности Алексея Ивановича Шахурина, а вместе с ними их заместителей и еще много других «виновных (как записал Сталин в решении Политбюро ЦК) в протаскивании на вооружение заведомо бракованных самолетов и моторов, крупными партиями, по прямому сговору между собой, что приводило к большому количеству аварий и катастроф, гибели летчиков».

Рикошетом «дело авиаторов» ударило по Маленкову. Во время войны в Государственном Комитете Оборона он надзирал за авиационной промышленностью. В апреле 1946 года его, всего месяц назад, 18 марта, избранного на Пленуме ЦК одновременно в Политбюро, Оргбюро и Секретариат ЦК (такой чести в советском руководстве удостаивались еще только два человека – сам Сталин и его правая рука Андрей Александрович Жданов), убрали из

секретарей ЦК и оставили вообще не у дел. 4–6 мая 1946 года Сталин подтверждает свое решение формальным опросом членов Центрального Комитета. Естественно, все проголосовали «за».

В начале мая обеспокоенный Лозовский позвал к себе внука и под большим секретом показал ему только что доставленное Постановление ЦК об отстранении Маленкова от должности Секретаря ЦК за потворство бракоделам-авиаторам. Сформулировано оно лично Сталиным в тонах, не суливших Маленкову ничего хорошего: «Установлено, что т. Маленков как шеф над авиационной промышленностью и по приемке самолетов – над военно-воздушными силами, морально отвечает за те безобразия, которые вскрыты в работе этих ведомств (выпуск и приемка недоброкачественных самолетов), что он, зная об этих безобразиях, не сигнализировал о них в ЦК ВКП(б)»⁹⁵.

– Вы должны подготовиться, – посоветовал Шамбергу Соломон Абрамович. К чему следует готовиться, Лозовский хорошо знал, а Володя, несмотря на свою молодость, догадывался.

– Маленков все последующие дни просидел на даче, – рассказывал мне Шамберг. – Я встречался с ним там ежедневно. Правительственную почту ему не доставляли, на работу Георгий Максимилианович не ездил. Видимо, ждал ареста. По Москве тем временем поползли слухи: Маленкова сослали в Среднюю Азию. Дошли они и до работавшего на Украине отца. Он им поверил и даже повторил, правда, с оговоркой, в своих воспоминаниях. Да и как не поверить – в ЦК Маленкова нет, у Сталина на обедах он не появляется, имя его там стараются не упоминать.

Но Маленкова не арестовали и не сослали, на выручку ему пришел Берия. Сталин поручил ему руководство спецкомитетом по разработке ядерного оружия. Для Иосифа Виссарионовича не было тогда важнее дела в стране. Берия исподволь внушил Сталину, что, хотя Маленков и проштрафился, но вина его в прошлом, а сейчас он, его опыт, оказались бы полезными, ему стоит поручить координировать работы в родственном спецкомитете по радиолокации и ракетам. Сталин согласился.

Без работы Маленков просидел чуть больше месяца. Уже 13 мая 1946 года его назначили председателем Спецкомитета по реактивной технике, а 10 июля еще и председателем комиссии по радиолокации. Однако в Секретариат ЦК Маленков не вернулся. 2 августа 1946 года Сталин сделал его заместителем главы правительства, своим заместителем. Опала закончилась, и Маленков знал, благодаря кому. В январе 1949 года наступила пора испытаний теперь уже для Соломона Абрамовича Лозовского. Сталин обвинил его в связях с американцами и сионистами. Разбираться с Лозовским Сталин поручил Маленкову.

– Когда я, – Владимир Шамберг продолжал рассказ, – уже не студент, а аспирант Института экономики Академии наук СССР, в начале января вернулся домой на улицу Грановского, горничная вручила мне запечатанный конверт. Это оказалось письмо от Володиной жены Воли⁹⁶. Она писала, что они больше никогда не увидятся и должны расстаться. В квартире он не застал ни Воли, ни кого-либо еще из Маленковых (по словам Шамберга, она отсиживалась этажом выше, в квартире Хрущевых, у своей подруги Рады). Володя не понимал, что же произошло, жили они мирно, без скандалов. Володя безропотно подчинился, положил в карман паспорт с партийным билетом и уехал к родителям. Оттуда попытался дозвониться до Воли, но разговора не получилось. Как ему помнилось, Воля почти истерически прокричала какие-то обидные слова и, не дожидаясь ответа, бросила трубку.

Володя рассказал о постигшем его горе родителям. Отец не удивился, ему уже звонил Маленков и, не приводя никаких разумных причин, упрашивал помочь развести детей. Так всем будет лучше.

– Зачем-то ему это нужно, а зачем, мы скоро узнаем, – заметил в задумчивости Михаил Абрамович и попросил Володю не сопротивляться, сделать все, что его просят. Иначе может обернуться намного хуже.

Тем временем раздался звонок в дверь – это охранники Маленкова привезли Володины вещи. Прихожую квартиры Шамбергов в цеховском доме № 19 по Староконюшенному переулку завалили книгами, а рядом поставили два чемодана с одеждой.

На следующий день, 12 января 1949 года, к Шамбергам заехал полковник Владимир Георгиевич Захаров, начальник охраны Маленкова, и отвез Володю в Московский городской суд, где его, в нарушение всех предусмотренных законом процедур, в отсутствие Воли, без судебного заседания, развели и тут же отобрали паспорт. Вскоре ему вручили новый, «чистый» паспорт, не только без записи о разводе с Волей, но без каких-либо следов заключения брака с ней.

Полковник Захаров попытался успокоить вконец расстроенного и растерянного Володю, посоветовал не расстраиваться: человек он образованный, молодой, а на Воле свет клином не сошелся. Все образуется. Володя согласно кивал головой, но так и не понял, откуда на него свалилась эта напасть.

Все прояснилось на следующий день. 13 января 1949 года Маленков вызвал в свой кабинет члена ЦК партии Лозовского, обвинил его в заговоре с целью создания в Крыму еврейской автономии, а также в шпионаже в пользу американцев. 18 января Лозовского исключили из партии. 26 января арестовали. Но теперь, после развода, уже никто не смел упрекнуть Маленкова в родстве с «врагом народа». Любопытное совпадение. Тогда же, в январе 1949 года, начало раскручиваться и так называемое «Ленинградское дело»: то ли Берия с Маленковым руками Сталина, то ли Сталин с их помощью избавлялись от секретаря ЦК Алексея Александровича Кузнецова и заместителя Сталина по правительству Николая Алексеевича Вознесенского. Историки до сих пор спорят, кто же первым сказал «а». Документов почти не сохранилось, в таких делах ни Сталин, ни Берия с Маленковым не доверяли бумаге. Все важные распоряжения отдавали устно и так же устно докладывали Сталину об исполнении. И надо же такому случиться! На 15 февраля 1949 года назначили свадьбу сына Анастаса Ивановича Микояна Серго и дочери Кузнецова Аллы. Они, как и Воля с Володи, знали друг друга с детства, учились в одной школе, в одном классе, и теперь решили пожениться. Чем грозило родство с «бывшим членом ЦК, замешанным в антипартийные действия», Анастас Иванович понимал не хуже Георгия Максимилиановича, но противиться заключению брака своего сына с дочерью потенциального «врага народа» не стал. Более того, он позвонил Алексею Александровичу и настойчиво приглашал его приехать к нему на дачу, поучаствовать в торжестве. Кузнецов вежливо отказывался. Он тоже знал, чем все это может обернуться для Микояна.

13 августа 1949 года Кузнецова вместе с Родионовым и Попковым арестовали в кабинете секретаря ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкова.

Я привел только два эпизода. За двенадцать лет сотрудничества Берия и Маленков провели множество «совместных операций». Так что их тандем в марте 1953 года опирался на глубокие корни. Они действовали согласованно, напористо и без каких-либо сомнений в том, что власть в стране уже принадлежит им. 4 марта напряжение достигло своего апогея, стало окончательно ясно, что Берия с Маленковым вот-вот преподнесут остальным членам руководства готовое решение. Решение их судеб. Только тогда отец наконец-то осторожно поделился опасениями с Булганиным: если после смерти Сталина Берия подомнет под себя госбезопасность, мы все пропали. Булганин обреченно согласился. Отец попытался поговорить и с Маленковым. Естественно, по секрету от Берии. Все утро 4 марта старался уловить подходящий момент, но остаться наедине не удавалось, Берия не спускал глаз с Маленкова ни на минуту. Так ничего не добившись, уставший после ночного дежурства отец уехал

домой, принял снотворное и заснул. Он отловил Маленкова только после обеда, когда вернулся в Волынское на очередное дежурство. На предложение отца обсудить, как жить после смерти Сталина, Маленков отреагировал с необычной для его характера решимостью: «А что сейчас говорить? Съедутся все, и поговорим»⁹⁷.

Отец поинтересовался, кто съедется, кто эти все. Маленков пояснил, что покато отсутствовал, они с Берией договорились провести новое совещание Президиума ЦК. Время не терпит, Сталину становится все хуже, надо договориться, как быть дальше.

Собрались не в Волынском, а в Кремле, в кабинете Сталина. Маленков пригласил не избранный на XIX съезде «большой» Президиум, и даже не придуманное Сталиным «бюро», а «группу товарищей». Будущее страны предстояло решить Берии с Маленковым, отцу, Булганину, Молотову, Кагановичу, Ворошилову и Микояну. Не могу сказать, позвали ли Сабурова с Первухиным, а если не позвали, то почему? Почему не позвали «молодых» членов высшего руководства страны, понятно: на этом заседании Берия хотел определиться с будущей властью, двадцать пять человек, да еще не притершихся друг к другу, для такого дела многовато. После краткой информации медиков о практически безнадежном положении Сталина инициативу взял в свои руки Берия. Он предложил возложить исполнение обязанностей главы правительства на Маленкова и, не дожидаясь реакции присутствовавших, проголосовал. Все послушно подняли руки «за». В таких делах крайне важен элемент внезапности: предложение внесено, возражать всегда сложнее, чем предлагать. К тому же никто, кроме Берии с Маленковым, не имел ни согласованной кандидатуры, ни сценария поведения.

Сразу после голосования Маленков предложил Берии своим первым заместителем и одновременно министром объединенного Министерства внутренних дел и государственной безопасности. Присутствовавшие поддержали – Лаврентий Павлович столько лет стоял во главе органов.

Хрущеву предложили «сосредоточиться на работе в ЦК», взять в свои руки Секретариат и одновременно «освободиться от Москвы». Отец не возражал. Обговорили и другие назначения, каждый из присутствовавших получал свою долю властного пирога. Состав Президиума ЦК сократили, вернулись количественно и по составу к состоянию до XIX съезда партии.

С этим пакетом и вышли на открывшееся 5 марта в 8 часов 40 минут вечера совместное заседание Пленума ЦК КПСС, Совета Министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР. Сталин еще дышал. На заседании отсутствовал единственный «потенциальный союзник» отца – Булганин, Берия попросил его остаться у постели умирающего на даче. Но это мало что меняло, отец знал: Булганин не борец, он без колебаний станет на сторону победителя, а победитель сегодня – Берия.

Председательствовал на заседании отец, но его председательствование сводилось к предоставлению трибуны выступавшим. Именно в такой роли Берия хотел бы видеть его и в будущем. Отец считал, что председательский колокольчик – еще не власть, но ее символ, символ для всех присутствовавших в зале. На большее пока рассчитывать не приходилось.

Первым с информацией о здоровье, точнее о неминуемой, с минуты на минуту, кончине Сталина, выступил министр здравоохранения СССР Андрей Федорович Третяков. Его назначили совсем недавно, 27 января 1953 года. До того он служил директором Центрального института курортологии. В министерском кресле Третяков сменил Ефима Ивановича Смирнова, медика-генерала, прослужившего в армии двадцать лет, дослужившегося до начальника медслужбы Красной армии. Смирнов к тому времени проработал министром около шести лет, проявил себя хорошим организатором, но Сталин ему больше не доверял. Набирало силу «дело врачей», и Сталин подбирал угодный ему контингент.

«Дело врачей» началось не в январе 1953 года, а за три года до того, с ареста 18 ноября 1950 года консультанта Лечсанупра Кремля, известного всей Москве профессора Якова

Этингера. Но добиться от 63-летнего сердечника-профессора нужных показаний, несмотря на допросы с пристрастием, не удалось – 2 марта 1951 года он умер в тюрьме, чем сильно прогневал Сталина. Он взял «дело врачей» под личный и жесткий контроль. В октябре 1951 года, после очередного доклада министра госбезопасности С.Д. Игнатьева, Сталин обозвал исследователей «бездельниками», пригрозил, «если не вскроют среди врачей террористов – американских агентов, то Игнатьев окажется там же, где Абакумов...» Предшественник Игнатьева на этом посту, сталинский «выдвиженец» Виктор Семенович Абакумов с 12 июля 1951 года сидел в тюрьме.

«Я не проситель у МГБ, – возмущался Сталин. – Я могу и потребовать, и в морду дать, если вами не будут исполняться мои требования. Мы вас разгоним, как стадо баранов...»⁹⁸

В одно из августовских воскресений 1952 года Сталин вновь вспомнил о «врагах-вредителях», затребовал к себе в Волынское Игнатьева и снова остался недоволен, что «дело» зависло, матерно обругал министра, его подчиненных обозвал «бегемотами» и заявил: «Старым работникам МГБ я не доверяю», они «ожирели, разучились работать»⁹⁹.

13 ноября 1952 года Сталин снимает с должности заместителя министра госбезопасности Михаила Рюмина, который, по его мнению, не справился с «делом врачей» и они «все еще остаются не раскрытыми до конца». Почему «дело врачей» так долго «не раскрывалось до конца», сказать трудно, Рюмин и не такие «дела» раскалывал как орех.

Так или иначе, но дело наконец «пошло». 15 ноября 1952 года Игнатьев докладывает Сталину, что к арестованным врачам «Егорову, начальнику Лечсанупра Кремля, личному терапевту Сталина академику Василию Никитичу Виноградову, профессору Василию Василенко, тоже терапевту Лечсанупра Кремля, применены меры физического воздействия»¹⁰⁰.

Тогда же посадили и Моисея Соломоновича Вовси, генерал-лейтенанта, главного терапевта Советской армии, личного друга министра здравоохранения Смирнова. Того Вовси, который в 1947 году выхаживал отца от воспаления легких. Отец очень переживал его арест, но сделать не мог ничего.

Однако профессора проявили стойкость. 29 ноября 1952 года Сергей Гоглидзе, заместитель Игнатьева, докладывал Сталину, что «до сих пор ни агентурным, ни следственным путем не вскрыто, чья злодейская рука направляла террористическую деятельность Егорова, Виноградова и других»¹⁰¹.

Сталин рассердился и 1 декабря 1952 года собрал заседание Президиума ЦК, событие по тем временам экстраординарное, текущие дела он решал за обеденным столом или поручал их Берии с Маленковым. Там он заявил, что «любой еврей – националист, агент американской разведки. Среди врачей много евреев-националистов. Неблагополучно в органах. Притупилась бдительность»¹⁰².

Через неделю после заседания Президиума ЦК генерала Смирнова отставили от должности. Со дня на день он ожидал ареста. (Смирнов просидел безработным до апреля 1953 года, когда уже после закрытия «дела врачей» его назначили руководить Военно-медицинской академией в Ленинграде.)

С начала 1953 года Сталин уже не просто контролировал «расследование», он направлял его. 13 января 1953 года «Правда» поместила на первой странице сообщение ТАСС об «Аресте группы врачей-вредителей», «раскрытии террористической группы врачей, ставившей своей целью путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям СССР». Этот текст Сталин продиктовал Маленкову накануне вечером за обедом в Волынском.

В стране поднялась истерия, сопоставимая с печально памятным тридцать седьмым годом.

Особо бдительные граждане в своих письмах в ЦК и МГБ жаловались на неправильное лечение, доносили на своих участковых врачей, консультантов и даже просто аптекарей. В этом деле отличились и люди заметные, хорошо разбиравшиеся в хитросплетениях власти. Так, прославленный маршал Конев в письме Сталину расписывал, как его травили, сживали со света кремлевские и армейские врачи, в том числе разоблаченный еврей-сионист (Конев употребил выражение поглубже) бывший профессор Вовси. Сам я письма, естественно, не видел, но отец об этой гнусности рассказывал неоднократно. Сталин попросил Маленкова зачитать письмо на очередном обеде в Волынском, внимательно слушал, в наиболее «сильных» местах похлопывал по белой скатерти стола ладонью. Когда прозвучала фамилия Вовси, он в сердцах стукнул по столу кулаком, да так, что посуда подпрыгнула.

В последующие годы при встречах с маршалом Коневым отцу каждый раз вспоминался уставленный посудой стол, Маленков, без выражения бубнящий текст письма, и Сталин, прихлопывающий ладошкой по столу.

В разыгрывавшемся Сталиным сценарии курортологу Третьякову отводилась важная роль разоблачителя «коварных методов сионистских убийц в белых халатах», покушавшихся на жизнь его, сталинских, соратников. И вот теперь министра Третьякова не могла не преследовать мысль: не спишут ли на него смерть Сталина. О том же беспокоились и врачи у постели больного; они, по свидетельству отца, боялись к нему даже притронуться.

В сообщении Пленуму ЦК Третьяков почти слово в слово повторил уже опубликованный в «Правде» бюллетень: температура, давление крови, дыхание Чейн-Стокса. Дальше все пошло по составленному Берией сценарию. Отец предоставил слово Маленкову. Георгий Максимилианович произнес несколько общих фраз об ответственности перед страной в сложившейся обстановке, о необходимости консолидации власти.

Маленков покидает трибуну, и отец приглашает следующего оратора, Лаврентия Павловича Берия, предложившего временно назначить главой правительства СССР вместо еще не умершего Сталина – Маленкова.

– Правильно! Утвердить, – привычно поддержали Берия присутствовавшие¹⁰³.

Им, людям опытным, все стало ясным: Берия – Маленков или Маленков – Берия и, скорее всего, Хрущев – вот на сегодняшний день ядро нового руководства страной. В противном случае и выступали бы другие люди, и в председательском кресле сидел иной человек.

В 8 часов 40 минут вечера 5 марта 1953 года в зал вошел дежурный и что-то прошептал на ухо сидевшему рядом с отцом Берии. Тот кивнул головой и в свою очередь зашептал на ухо отцу: «Сталин плох, надо поспешить в Волынское, через час-полтора уже будет поздно».

Хрущев, не объясняя причин, объявил перерыв на два часа, до одиннадцати ночи.

Члены нового, пока еще не избранного Пленумом, Президиума ЦК поехали на дачу Сталина. Они едва успели, в 9 часов 50 минут вечера по московскому времени Сталин испустил дух.

Отец вспоминал, что в тот момент он прослезился, – каким бы Сталин ни был, но они столько лет проработали бок о бок. Влажно блестели под пенсне глаза у Молотова. Об остальных ничего сказать не могу, не знаю. Совсем иначе, несообразно скорбной минуте, повел себя Берия.

– Ну всё? – нетерпеливо он допытывался он у врачей.

Услышав ответ «Всё», Берия бросил через плечо Маленкову:

– Поехали, – и, не оглядываясь на покойного, направился к двери. – Хрусталева, машину, – на ходу ликуяще прокричал он.

Дверца бронированного ЗИС-110 смачно чмокнув, захлопнулась. (Я процитировал воспоминания присутствовавшей там дочери Сталина, Светланы Иосифовны.)

Поехал власть брать – показалось тем из присутствовавших, кто не знал, что власть Лаврентий Павлович взял уже около часа тому назад¹⁰⁴. В Кремль все вернулись около

одиннадцати часов, и заседание возобновилось. После информации Хрущева о фактической смерти Сталина переутвердили Маленкова уже в качестве постоянного главы правительства. Дальше все пошло как по писаному: Маленков информирует, именно информирует, собравшихся о решениях, принятых накануне на втором этаже сталинской дачи и подтвержденных на послеобеденном собрании в кремлевском кабинете Сталина.

Он говорит о необходимости объединения министерств, сокращении их числа и назначении министрами людей авторитетных и в партии, и в народе. Тут же объявляет о своем первом заместителе – Лаврентии Павловиче Берии, который одновременно возглавит два объединенных министерства: внутренних дел и госбезопасности. Затем назначают еще трех первых заместителей главы правительства: Молотова, Булганина, Кагановича и трех просто заместителей: Микояна, Сабурова и Первухина. Министр иностранных дел – Молотов, министр вооруженных сил – Булганин. Упразднили Бюро Президиума ЦК, а сам Президиум ужали до привычных одиннадцати человек со старыми узнаваемыми фамилиями: Сталин, Маленков, Берия, Молотов, Ворошилов, Хрущев, Булганин, Каганович, Микоян, Сабуров, Первухин. Именно в таком порядке, а не по алфавиту перечислили тогда десять главных властителей страны. Стоявшего в списке первым Сталина Маленков, запнувшись на мгновение, естественно, не назвал. Отец значился в середине, пятым, не только после Маленкова и Берии, но пропустил вперед недавних аутсайдеров: Молотова и Ворошилова. Так представлял себе новый расклад власти составивший этот список Берия. Кандидатами в члены Президиума ЦК стали: Мир-Джафар Багиров (1-й секретарь ЦК Компартии Азербайджана, человек Берии), Николай Шверник (глава ВЦСПС), Леонид Мельников (1-й секретарь ЦК Компартии Украины), Николай Пономаренко (1-й секретарь ЦК Компартии Белоруссии). Впрямую сторонником отца не мог считаться ни один из них, даже Мельников.

В 1949 году отец предложил Мельникова в качестве преемника, но потом разругался с ним по еврейскому вопросу. После XIX съезда партии, став членом расширенного Президиума ЦК, Мельников развернул на Украине антисемитскую кампанию. Он уволил многих близких к отцу евреев, в том числе и профессора Фрумину, которая в начале войны вылечила меня от туберкулеза сумки бедра. Фрумина написала отцу. Отец позвонил Мельникову, но тот ответил ему грубостью, да такой, что отец больше и слышать о нем не желал.

Обновили и секретариат ЦК. В дополнение к «старым» секретарям: Сталину, Хрущеву, Маленкову, Аверкию Аристову, Николаю Михайлову и Суслову, избрали Семена Игнатьева – вчерашнего министра госбезопасности (они недавно вместе с Маленковым по приказу Сталина оборудовали специальную, «партийную», тюрьму), Николая Шаталина – бывшего заместителя Маленкова по Управлению кадров ЦК и Петра Пospelова, одного из сочинителей краткой биографии Сталина. Ни «старые», ни «новые» секретари до этого с отцом тесно не соприкасались и по складу мышления в соратники к нему вряд ли подходили.

Одновременно из Секретариата ЦК убрали бывших секретарей обкомов – практиков: Леонида Брежнева, Николая Игнатова, Николая Пегова и Пантелеймона Пономаренко, людей, на которых отец теоретически мог рассчитывать. Формирование нового, послесталинского руководства страной заняло около часа, вскоре после полуночи Пленум ЦК свою работу закончил.

Через десять дней, 14 марта, новый Пленум ЦК еще раз перетряхнет Секретариат ЦК, оставит в нем кроме отца одних аппаратчиков-маленковцев: Игнатьева, Пospelова, Суслова и Шаталина.

Внешне казалось, что Берия учел все. Все, кроме того, что с уходом Сталина не просто поменялись таблички на дверях кремлевских кабинетов. Члены ЦК, казалось бы, покорно поддерживали все «инициативы» Берии, но в душе они не желали более жить по установленным «хозяином» правилам, когда и секретарь обкома, и министр, и маршал (они составляли большинство в ЦК) трепетали перед любым майором из органов госбезопасности, а само его

майорское звание приравнялось к генеральскому. Перспектива по мановению руки Берии превратиться в «лагерную пыль» их тоже не устраивала. От них, от членов ЦК, сейчас зависело, по какому пути пойдет страна. Они подспудно ощущали свою силу, но одновременно на них давил страх. Сами они не решились бы на сопротивление, но с охотой поддержали бы того, кто попробовал бы восстать против всемогущества органов и вседозволенности оперуполномоченных.

Вместе они составляли внушительную силу. Но в обществе, пронизанном нервными волокнами органов, в обществе, где жизнь каждого, включая и членов Президиума ЦК, контролировалась теми же органами, их силу не следовало и переоценивать. Весной 1953 года, отдал Лаврентий Павлович приказ, и все они добровольно и безропотно проследовали бы в «приемный покой» Лубянки, переоделись в тюремные одежды, дали показания и отправились бы превращаться в «лагерную пыль».

В том, что все так и произойдет, мало кто сомневался. Вот только когда? И еще надеялись, что может, меня, грешного, минует чаша сия! Так они жили при Сталине. Так же, считали, будет и при Берии. Но Берия – пока еще не Сталин.

Как мы хоронили Сталина

Поздно вечером, скорее даже ночью с 5 на 6 марта, донельзя усталый отец возвратился домой, в квартиру № 95 на пятом этаже дома № 3 по улице Грановского. Пока отец снимал пиджак, умывался, мы – мама, сестры, Радин муж Алеша и я – молча ожидали в столовой. Наконец отец появился из двери, сел поглубже на покрытый серым холщовым чехлом диван и устало вытянул ноги.

– Сталин умер. Сегодня. Завтра объявят, – произнес отец после мучительно длинной паузы.

Отец прикрыл глаза. У меня комок подкатил к горлу, и я вышел в соседнюю комнату.

«Что же теперь будет?» – промелькнуло у меня в голове.

Переживал я искренне, но мое второе я как бы со стороны оценивало мое истинное состояние. Заглянув в себя поглубже, я ужаснулся: глубина горя никак не соответствовала трагизму момента. Я перестал всхлипывать и вернулся в столовую. Отец, полуприкрыв глаза, продолжал сидеть на диване. Мама и сестры застыли на стульях вокруг стола.

– Где прощание? – спросил я.

– В Колонном зале, – как мне показалось, равнодушно и как-то отчужденно ответил отец и после паузы буднично добавил: – Очень устал за эти дни. Пойду посплю.

Отец тяжело поднялся и медленно направился в спальню. Я до сих пор хорошо помню каждое его движение, интонацию. Поведение отца поразило меня: как можно в такую минуту идти спать! И ни слова не сказать о НЕМ. Как будто ничего не случилось!

Наутро, как обычно, я отправился в институт. Я учился на первом курсе МЭИ – Московского энергетического института имени В.М. Молотова. Занятия начинались в 8 утра. Ехал на метро до станции «Бауманская», дальше к институту студентов вез 37-й трамвай. Когда я выходил из метро, на домах только развешивали траурные флаги. Через двадцать минут переполненный, как обычно, трамвай доставил нас на место. На парадных колоннах главного учебного здания МЭИ флаги уже висели.

Мой соученик-первокурсник Эдик Соловкин, он жил в общежитии, запомнил, что учебный день начался по расписанию общей для всего курса лекцией в огромной, на полторы сотни человек, аудитории Г-201. Здание состояло из нескольких корпусов-разветвлений, обозначавшихся буквами: А, Б, В, Г. В тот день мы занимались в «Г». Обычно лектор появлялся по звонку, минута в минуту, на сей раз прошла минута, пять, десять, и никого. Студенты сидели тихо, ожидание томило своей совершенно определенной неопределенностью. Мы отлично понимали, почему не начинаются занятия, почему отсутствует лектор, знали, что сейчас появится секретарь парткома факультета или комсомольский секретарь и произнесет подходящие случаю слова. И несмотря ни на что, мы боялись этих слов. Однако никто не пришел, ожидание прервалось приглашением на траурный митинг в актовом зале института. Он располагался в том же здании и вмещал всю первую смену. Наш поток пришел одним из первых, зал заполнялся долго, не менее сорока минут. Наконец все расселись. На сцене за длинным столом разместилось институтское начальство. За спиной президиума стоял высоченный, до самых верхних кулис, портрет Сталина. Он был там всегда, сколько я себя, первокурсник, помнил. Сейчас его раму переживала красно-черная лента.

С портретом меня связывала не очень для меня приятная история. В сентябре 1952 года, когда «новобранцев» грузили общественной работой, я стал фотографом в факультетской стенгазете. Снимал я неплохо, но главное – у меня был фотоаппарат «Киев-Контактс» с фотоэкспонометром и двумя сменными объективами, широкоугольником и телевиком. Невиданная роскошь в те времена. К поручению я отнесся со всей ответственностью, к тому же я любил фотографировать. Но моя карьера фотографа оборвалась сразу после Нового года.

В газете поместили отчет о концерте самодеятельности в конференц-зале и мою фотографию студенток в национальных костюмах, танцующих украинский народный танец на фоне все того же портрета Сталина. Из-за громоздкости его со сцены не убрали никогда. Фотография как фотография – весьма средненькая. Никто на нее внимания не обращал, и вдруг газета, не провисев и неделю, исчезла, а меня вызвали в комитет комсомола. Кто-то очень бдительный заметил, что танцоры у меня красуются в полный рост, а портрет Сталина получился только по плечи, без головы. С меня потребовали объяснений. Я наивно ответил, что снимал девочек-студенток, а на Сталина как-то внимания не обратил, голова просто не влезла в объектив. Мер ко мне не приняли, но от фотографирования отлучили. Пока я смотрел на портрет, начался траурный митинг.

Ораторы сменяли друг друга, звучали привычные, затертые фразы. Кто говорил, не помню, что говорилось, тоже не помню, но студенты сидели тихо, кое-кто даже всплакнул. Наконец речи закончились, всех попросили разойтись по аудиториям, занятия продолжались по расписанию. На обратном пути в аудиторию я отметил, что у дверей деканата, парткома, комитета ВЛКСМ и просто в торцах бесчисленных институтских коридоров появились обрамленные траурными лентами портреты Сталина.

Что происходило в оставшуюся часть дня, я не запомнил, в день, когда умер он, в голову не шли ни физические законы, ни математические формулы. Наконец подошла последняя пара, два часа слесарной практики, и меня осенило: всей группой надо немедленно идти в Колонный зал прощаться со Сталиным. Моих товарищей-студентов долго уговаривать не пришлось. Сначала мы решили с занятий попросту удрать, потом благоразумие взяло верх, неорганизованных, нас к Колонному залу и близко не подпустят. Я пошел в комитет комсомола советоваться, вернее, рассказать о нашем намерении. Факультетский секретарь Гена Лисицын отреагировал на мои слова неуверенно, никаких распоряжений он еще не получал, но и отказать в такой инициативе, да еще Хрущеву, не посмел. Стал названивать в институтский партком. Там уже получили разнарядку на прощание, и нашу инициативу одобрили. Гена повеселел, но решил, что одной группой идти негоже, двинемся всем факультетом. Через какое-то время студенческая колонна шагала привычным маршрутом праздничных демонстраций из Лефортова, по тем временам дальней окраины, к центру города. Шли мы сначала вдоль линии 37-го трамвая – по Красноказарменной улице мимо желтых каменных зданий Бронетанковой академии, по мосту через Язу, оставили слева Туполевское конструкторское бюро, справа, по улице Радио (теперь Гороховое поле) – к старому зданию Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ). Тут 37-й трамвай сворачивал на Бауманскую улицу, а мы пошли прямо, мимо Строительного института, Театра Транспорта (сейчас Театр имени Гоголя) и повернули направо – на Садовое кольцо, на улицу Чкалова (Земляной вал).

Стоял зябкий, противный, пробирающий до костей влажный мороз. Жизнь в городе замерла. Не только в Москве, но и по всей стране отменили концерты, театральные представления, собрания. Белели еще вчера пестревшие объявлениями афишные щиты и тумбы – ночью их оклеили огромными чистыми листами бумаги. Страна погрузилась в траур, не притворный, потому что так приказано, а всамделишный. Казалось, она не выйдет из него никогда.

Подуставшая студенческая колонна вразнобой шагала по тротуару, рассчитывая при первой возможности двинуться куда-нибудь влево, в центр города. Миновав пару заблокированных военными грузовиками переулков, мы обнаружили, что идущая к Колонному залу улица Чернышевского (Покровка) свободна, и не просто свободна, но почти пуста. По Садовому кольцу транспорт еще двигался, а вот по улицам, ведущим к центру, уже не ходили ни троллейбусы, ни машины. Людей на Покровке тоже оказалось на удивление мало. Мы собрались на похороны Сталина одними из первых. О доступе к телу Сталина в Колонном

зале Дома союзов по радио объявили часа в три, а мы пустились в путь чуть позже полудня. К тому же от цели мы находились еще далеко.

Мы оказались одними из первых, но далеко не самыми первыми, как докладывал на следующий день Хрущеву, председателю Комиссии по организации похорон, секретарь Московского городского комитета партии Иван Васильевич Капитонов, наиболее расторопные пришли к Колонному залу еще утром, к восьми часам, когда у нас в МЭИ еще не начался траурный митинг, там растянулась живая лента людей, желавших в числе первых пройти у гроба, проститься с родным и любимым товарищем Сталиным¹⁰⁵.

Итак, мы свернули налево, по Покровке колонны двигались очень быстро, то и дело переходя на бег, но у Бульварного кольца путь нам преградила цепочка солдат. Стоявший впереди командир заворачивал всех направо, на Чистопрудный бульвар, повторяя как заведенный: «Проходите, проходите». Пошли направо. На бульваре выстроившиеся в шеренги солдаты разрезали толпу на два потока и прижимали ее к тротуарам. От проезжей части нас отделяли плотно приставленные друг к другу, бампер к бамперу, военные грузовики. Городские власти так предохраняли от увечий зеленые насаждения бульвара, не подумав, что теперь нам, идущим к Сталину, податься просто некуда. Двигавшиеся вольготно по Покровке сотни и тысячи людей превратились в две длинные ленты. Мы еще не напирали один на другого, но уже дышали друг другу в затылок.

Толпа тем временем начала волноваться. Чистопрудный бульвар привести нас к Колонному залу не мог, и все старались найти хотя бы щелочку, чтобы просочиться влево, к центру. Но не тут-то было: улицу справа от нас наглухо отгородили грузовики, уходящие налево переулки перегораживали цепи солдат, твердивших: «Проходите, проходите...» Людей на бульваре толпилось все больше. Мы уже не бежали, постепенно спрессовываясь в единую массу, медленно стекавшую по бульвару вниз. Миновали Кировскую (Мясницкую), пересекли Сретенку и вышли на Рождественский бульвар. Мы рассчитывали добраться бульварами до улицы Горького, она и выведет нас напрямиком к Дому Союзов, к Колонному залу, где лежит Сталин.

Обстановка к тому времени накалилась не на шутку. Согласно уже упоминавшемуся мною докладу Капитонова, к двум часам дня людская толпа заполонила Пушкинскую улицу (Большую Дмитровку), Страстной и Петровский бульвары. Толпы людей проталкивались к центру города по улицам Горького (Тверской) и Чехова (Малая Дмитровка), по Цветному и Рождественскому бульварам. На Рождественском бульваре разрозненные колонны, в том числе и мэивская, единой массой покатились под уклон к Трубной площади. На Трубной перед нами открылся ведущий налево к Колонному залу и никем не блокированный Неглинный бульвар. Толпа устремилась туда. Так в ливень широко разлившийся по асфальту поток воды, завихряясь, с шумом всасывается в узкое горло колодца и, заполнив его, образует на поверхности водоворот, крутящий и сталкивающий оставшиеся на поверхности щепки, листья и иной мусор. На Неглинном бульваре оказалось еще теснее, чем на Рождественском, людей становилось все больше, ряды стоявших вдоль тротуаров военных грузовиков по-прежнему прижимали нас к стенам домов. А тут еще новая напасть: в конце бульвара, там, где Неглинный бульвар переходит в собственно улицу Неглинка, толпа уткнулась в борта очередного заслона из грузовиков. Вместо того чтобы двигаться вперед, людям снова предлагали свернуть направо, в сторону Петровки. Согласно милицмейской диспозиции, как я теперь понимаю, все людские ручейки направлялись к Пушкинской улице (Большой Дмитровке), чтобы по ней общим потоком проследовать к Колонному залу. Вот только в милиции не рассчитали, что поднимется вся Москва, и не только Москва, переполнятся пригородные электрички и поезда, следующие к московским вокзалам. Наступало то, что принято называть столпотворением. Протолкнуть людей намеченными с утра маршрутами более не представлялось возможным. Людское море захлестывало Москву.

Чтобы не допускать в Москву иногородних и тем самым хоть как-то разрядить обстановку, отец попросил министра путей сообщения Бориса Павловича Бещева принять меры. Уже со второй половины дня 5 марта повсеместно прекратили продавать билеты на Москву, затем отменили все пригородные поезда. Но рвавшихся к Сталину людей уже не могло остановить ничто. В Орле, Туле, Рязани, не говоря уже о Подмоскovie, толпы людей захватывали автобусы, грузовики, тракторные прицепы, грузились в редкие тогда легковушки, и вся эта армада двигалась к Москве. На узких однополосных шоссе скопились невиданные ранее очереди. К пяти часам дня 5 марта затор растянулся до Серпухова, а к вечеру автомобильный хвост дотянулся до самой Тулы. Не лучше обстояли дела и на других дорогах. Милиция получила распоряжение перекрыть въезды в Москву.

Тем временем людодворот на Трубной закрутил и нашу колонну, то притискивая одного к одному, то растаскивая поодиночке. Пока внутри толпы еще оставались щели, Гена Лисицын собрал остатки нашей группы, тех, что удержались вместе, и приказал ребятам взяться крепко под руки, образовать кольцо, двойное, тройное, как получится. Внутрь кольца он согнал всех девчонок. Мы упорно стремились пробиться к устью Неглинной улицы. Толпа порой помогала нам в этом, но когда казалось, что мы уже у цели, отбрасывала нас назад к Цветному бульвару. Становилось все очевиднее, что к Колонному залу нам не пробраться. К сожалению, понимание пришло слишком поздно, когда толпа на Трубной уже превратилась в единый многоголовый организм. Сзади, с боков нас обволакивала упруго пружинящая людская масса. Порой она сжималась до такой степени, что становилось трудно дышать. Беспорядочное броуновское движение на Трубной продолжалось. Наконец нас подтащило к Неглинному бульвару и даже затянуло в него. Но никого это больше не радовало. Кружок наш давно разорвали на части, но мы пытались держаться вместе, ребята каждый на свой лад защищали оказавшихся поблизости девушек.

Стемнело. В свете фонарей отсвечивало сплошное поле человеческих голов с повисшим над ним беловатым облаком пара, выдыхаемым тысячами ртов. Толпа вжимала солдат в громады их военных грузовиков, и они один за другим ретировались в крытые брезентом кузова. Оттуда они наблюдали за толпой. Стоявшие внизу передавали из рук в руки наверх не державшихся на ногах стариков, пожилых женщин и, с особым удовольствием, симпатичных девушек. Скоро грузовики переполнились.

Толпа то замирала, то начинала двигаться вновь. Минуты сцеплялись в часы. Наступила ночь. Мысль о Колонном зале сменялась заботой о том, как бы отсюда выбраться. Однако выхода не находилось, толпа стала столь плотной, что попытка пробуравиться к краю улицы оборачивалась пустой тратой невероятных усилий. Стало совсем холодно. Особенно мерзли ноги, но сдвинуться с места не представлялось возможным. Мы попали в ловушку. Жутко хотелось в туалет или хотя бы в ближайшее парадное, там потеплее, и сами понимаете... Но парадные теперь оказались столь же недостижимыми, как и Колонный зал. Людская толпа слилась в единый организм многометрового извивающегося червя. Как червяк от любого прикосновения начинает извиваться, так и мы, плотно прижатые друг к другу, то семенили по Неглинному бульвару, то подтягивались назад к Трубной. Периодически толпа сжималась, но, когда казалось уже совсем стало невмоготу, давление неожиданно спадало, «червяк» распадался на индивидуумы, каждый сам по себе пытался сдвинуться с места. Тут вдруг приходили в действие какие-то силы, снова все спрессовывались вместе и, увлекая друг друга, единой толпой колебались, несколько метров вперед, затем чуть-чуть назад. Амплитуда нарастала, затем энергия толпы иссякала, и все замирало вновь. Что служило источником движения, я не видел. Страха я не испытывал, возможность несчастного случая в голову не приходила, просто хотелось домой, в тепло, и родители беспокоились. Так продолжалось до утра.

Об этой ночи на Трубной много понаписано: и новая «Ходынка», сотни и даже тысячи трупов, и люди, проваливавшиеся в открытые канализационные люки, «проходившие сквозь» – через витрины магазинов и выбивавшие двери парадных¹⁰⁶...

Моему сокурснику Эрику Соловкину как самое страшное на Неглинке запомнились фонарные столбы. Ведь если придавит к нему, то расплющит в лепешку, сломает ребра. Тренированный спортсмен, Соловкин делал все возможное, чтобы избежать контакта с ними. С другой стороны, он вспоминал, как «Сергея Хрущева, студента первой группы, прижало к злосчастному столбу. Он пытался оттолкнуться, но безуспешно. К счастью, толпа вдруг колыхнулась в сторону, его оторвало от столба и понесло дальше»¹⁰⁷.

Я этого столба и вообще столбов абсолютно не запомнил. Не расплющивался я о них и не видел других расплющенных. У каждого из нас своя память и свои страхи.

Поэт Евгений Евтушенко, как и я, оказавшийся в ту ночь на Трубной, в книге «Волчий паспорт» тоже с ужасом вспоминает о столбе, но не фонарном, а светофорном, о раздавленной об него девочке, о трупах, по которым ему приходилось шагать¹⁰⁸. Игорь Васильевич Бестужев-Лада, социолог-футуролог, в тот день тоже попал на Трубную, да еще вместе с женой, правда, ненадолго. Их «спас какой-то сержант, крикнувший, чтобы они на карачках пролезли наружу под огромными военными фургонами-грузовиками. Оказавшись на внешней стороне, они слышали дикий вой сотен людей, погибавших под грудой тел...»¹⁰⁹ Такое впечатление, что мы «проводжали» Сталина в разных местах. На самом деле это всего лишь услужливость подсознания, трансформирующего общепринятый стереотип в псевдо-, а затем в просто «реальность». Такое случается со многими, особенно с людьми впечатлительными.

Я раздавленных людей в ночь с 5 на 6 марта на Трубной площади не видел. Но это тоже ни о чем не говорит.

Нет сомнений, люди в ту ночь гибли. Вот только сколько? Моя жена Валентина Николаевна Голенко, в марте 1953 года шестилетняя девочка, жила с родителями неподалеку от Рождественского бульвара в общежитии Авиационно-технологического института. Она помнит раненых людей, которых притащили студенты МАТИ с Трубной площади. Они лежали в вестибюле, потом их унесли куда-то. В здании неотлучно находился представитель районного МВД, он сидел у окна, наблюдал за происходившим на бульваре. При нем обсуждать происходившее боялись. Пересуды моя жена услышала на следующий день, когда они с бабушкой отправились на Сретенку в булочную. В очереди собрались постоянные покупатели-пенсионеры, они перечисляли не вернувшихся домой родственников и знакомых, говорили, что в моргах так много трупов, что своего найти очень трудно.

С годами и десятилетиями события той трагической ночи обрастали леденящими душу подробностями. К примеру, отставной офицер КГБ А. Саркисов написал в 1993 году в «Московских новостях», что ту ночь он дежурил в Институте Склифосовского и видел около четырехсот трупов. Он утверждает, что всех погибших свозили к ним по указанию главы Московского горкома партии Екатерины Алексеевны Фурцевой¹¹⁰.

В те же девяностые годы прошлого века Евгений Евтушенко снял фильм о стоянии на Трубной, в нем тысячи, многие тысячи погибших; дворники, на следующее утро сметавшие в огромные кучи оторванные пуговицы.

Можем ли мы доверять цифрам и фактам, приводящимся по памяти сорок лет спустя? Тут все зависит от нашего желания верить или не верить.

Теперь давайте заглянем в официальные сводки. Сохранилась докладная Московского горкома партии Хрущеву, сообщавшая, что к 8 часам вечера 6 марта во 2-ю клиническую больницу у Петровских ворот доставлено двадцать девять пострадавших, в том числе двадцать тяжелых: сдавленная грудная клетка, переломы ног. В другой справке говорится, что

к десяти часам в шесть медпунктов, развернутых в районе Неглинной, доставлено тридцать пострадавших, почти половину из них препроводили в больницы¹¹¹. О погибших ничего не сообщается, видимо, их свозили в Склифосовского или в морги.

В марте 1956 года, выступая на VI Пленуме Польской объединенной рабочей партии, отец сказал, что в первую ночь прощания со Сталиным в Москве погибло от разных причин сто девять человек. 13 мая 1957 года, выступая на совещании в ЦК КПСС перед писателями, он повторил: «Во время похорон Сталина задушили более ста человек», – и снова, уже в 1962 году, тоже в мае, 16-го числа, в городе Варна в Болгарии: «Когда умер Сталин, в давке задушили 109 человек».

Для столь огромного города, как Москва, и в тех обстоятельствах, жертв могло быть гораздо больше. Конечно, тут же раздадутся возгласы, что это неправда! А что правда? Я верю отцу. Цифру погибших он, безусловно, знал и хорошо запомнил. Во всех трех приведенных выше случаях никто его за язык не тянул. И говорил он не по заранее написанному тексту, так что о продуманной подтасовке не может быть и речи. К тому же и называл он эту цифру (109 погибших) не в контексте малости потерь, а сожалея, какая пропасть народа принесла себя в жертву ради лицеизрения останков Сталина.

Я простоял на Трубной до утра 6 марта. Светало, один за другим гасли фонари. Толпа поредела, за ночь многие дворами и подъездами просочились на волю. Замерзшие, помятые люди возвращались по домам. Разошлись и мы. Я пробирался через Пушкинскую, Тверскую и Моховую. Улицы перегораживали военные патрули, за военными – милиция, а дальше – синие фуражки войск МГБ. К счастью, у меня с собой оказался паспорт со штампом прописки на улице Грановского. Старший патруля, внимательно изучив странички документа, неизменно брал под козырек.

Наконец я дома. Казалось, я вернулся из долгого и далекого путешествия. Отец с матерью всю ночь не спали и, услышав звук открываемой двери, вышли в прихожую. Выглядели они неважно, особенно мама. Я не услышал ни слова упрека, мама только спросила, где я пропадал. Подробно рассказывать о ночных перипетиях сил не было. Я сказал, что из института мы всем факультетом пошли прощаться с товарищем Сталиным, но пробиться не смогли и ночь провели на улице. Только дома я ощутил, насколько промерз. Прошли в столовую. Отец сел за обеденный стол, а мы с мамой напротив. Мама поставила чай.

– Зачем ты это затеял? – как-то тускло проговорил отец. – Мы уже не знали, что и думать, звонили и в милицию, и в больницы, и в морги. Ты себе представить не можешь, что в городе делается. По правде говоря, не чаяли, что ты жив.

Позднее отец рассказывал, как той страшной ночью они с Кагановичем пробрались в район Трубной, как уговаривали людей разойтись. Но все тщетно. Толпа никогда не поддается ничьим уговорам.

Мы попили чаю. Уже совсем рассвело. Отец засобиравшись на работу, наступавший день сулил новые хлопоты, но такого, как в ночь с 5 на 6 марта, больше не повторилось, в город ввели дополнительные войска, в центр пропускали ровно столько, сколько за день могло пройти через Колонный зал. Людская цепочка растянулась на многие километры, в толпу ей не позволяли превратиться стоявшие через каждые два метра военнослужащие. Лишних отсеивали на дальних подступах к центру города.

– Хочешь посмотреть на Сталина, завтра, вернее сегодня, после того как поспишь, я возьму тебя с собой в Колонный зал, – предложил мне на прощание отец.

Слова отца резко диссонировали с моим настроением возвышенного страдания. Такое прозаическое прощание с... Я не смог подобрать подходящее слово, любое казалось недостойным величия скорбного момента. Все это хождение по морозным улицам, стояние на площади оказалось ненужным, можно просто зайти в Колонный зал и посмотреть на покойника, как на мумию в музее или бегемота в зоопарке. Эти мысли мелькнули и исчезли. Сил возра-

зять не осталось. Часов в двенадцать дня я на присланной отцом машине поехал в Колонный зал. Охранник провел меня через специальный подъезд и предоставил самому себе. Так что я мог смотреть на покойного вождя, сколько мне заблагорассудится. И не просто смотреть! В небольшой комнатке, позади установленного на постаменте гроба, набирали добровольцев в почетный караул. Накануне в нем стояли отец с другими членами Президиума ЦК, члены правительства, министры и прочие важные люди. Сегодня постоять пару-тройку минут у гроба мог любой, любой из допущенных в зал и узнаваемый охраной. Охрана меня узнала и беспрекословно пропустила в комнату. Там выстроилась живая, как в гастрономе, очередь. Я стал в хвост. Очередь продвигалась медленно, без очереди проходили члены начавших прибывать иностранных делегаций. Но тем не менее она двигалась. На выходе служители прикрепляли английскими булавками на правый рукав, чуть повыше локтя, широкую красную с черной каймой повязку, формировали очередную партию в четыре группы, каждая, кажется, по трое, инструктировали, кому где находиться у гроба, и пропускали в дверь. Рядом другие служители снимали траурные повязки с рукавов уже отстоявших свою вахту. И так через каждые две-три минуты.

Наконец подошла наша очередь. Экипированный и проинструктированный, я встал у гроба Сталина в ряд с какими-то двумя незнакомыми дядьками. Никаких особых чувств в минуты, отведенные на стояние в почетном карауле, я не испытал. Боялся оступиться, упасть, перепутать шеренгу. Вчерашний надрыв постепенно проходил.

Минуло еще несколько дней. Сталина хоронили на Красной площади. Я стоял рядом с Мавзолеем, на гостевой левой, если стать лицом к ГУМу, трибуне. Было еще холоднее, чем в ночь на Трубной, но холод скрашивался разносимым по рядам горячим глинтвейном. Гости в ожидании траурной процессии переговаривались, делились новостями, но не шутили и анекдотов не рассказывали. Траурный митинг вел отец, выступили Маленков, Берия и Молотов. После приличествовавших моменту речей Сталина поместили в Мавзолей, на котором за эти морозные дни сменили надпись: вместо «Ленин», теперь появились два имени: «Ленин Сталин».

Друзья и соседи

Жизнь постепенно входила в новую колею. В неполные восемнадцать лет я, первокурсник, далеко не все замечал, многое заслоняли волновавшие меня тогда и абсолютно позабытые сейчас события. Но кое-что все же запомнилось. Мы продолжали дружить с Маленковыми. Вечерами старшие в сопровождении детей гуляли по близлежащим улицам, заходили в Александровский сад, обычно обходили Кремль снаружи, но порой заходили и вовнутрь, часовые у Кутафьей башни козыряли и, не спрашивая документов, пропускали. В Кремле мы пересекали Ивановскую площадь, шли мимо Царь-колокола, Царь-пушки. Они доступны сейчас любому туристу, а тогда я глядел на них как на невиданную диковину. Их фотографии не публиковались, как все внутри Кремля, Царь-пушка и Царь-колокол считались строго секретными объектами.

Затем мы спускались в Тайницкий сад и, нагулявшись там между цветущими яблонями – как раз наступила весна, – возвращались тем же путем мимо тех же часовых домов.

Валерия Алексеевна Голубцова, жена Маленкова, в 1947–1951 годах – директор Энергетического института, патронируя меня, подробно расспрашивала об учебе. Прошло уже два года, как она покинула МЭИ, но немного ревности к новой дирекции у нее еще оставалось. Она с удовольствием выслушивала мои дифирамбы в свой адрес. Ее в институте помнили и любили, так что я ни чуточки не кривил душой. Валерия Алексеевна, собственно, и создала наш Энергетический институт, отстроила на Красноказарменной улице три огромных учебно-лабораторных корпуса, а позади них кирпичные параллелепипеды общежитий. Только в Энергетическом институте всем иногородним предоставлялось общежитие, и не где-то у черта на куличиках, как в университете, а в пяти минутах пешего хода от учебных аудиторий. В одном из учебных корпусов разместилось очень секретное конструкторское бюро будущего академика в области радиотехники Владимира Александровича Котельникова. Нам, младшекурсникам, знать о его существовании не полагалось.

В 1951 году Валерия Алексеевна после тяжелой болезни оставила работу, из института ушла, но еще долго жила жизнью Института. Она, собственно, и уговорила меня пойти туда учиться, за год до окончания школы водила по лабораториям, рассказывала сама о каждой из них. Летом 1952 года я поступил на факультет электровакуумной техники и специального приборостроения по специальности «Системы автоматического регулирования». Рада дружила со старшей дочкой Маленковых Волей, я – с младшими сыновьями Андреем и Егором. Где-то они сейчас? В выходные мы нередко заезжали на дачу к Маленковым, а если мы не гостили у них, то они у нас.

С Булганиными, хотя они и жили с нами на одной площадке, дверь в дверь, мы встречались реже. Мама, а особенно моя старшая сестра Юля, еще с до войны сдружилась с женой Николая Александровича Еленой Михайловной, учительницей английского языка, в отличие от Валерии Алексеевны, женщиной без амбиций, но очень коммуникабельной и приятной в общении. Сейчас Булганин жил, не афишируя, с другой женщиной и приударял за третьей и четвертой. Мама придерживалась строгих нравов, никого другого, кроме Елены Михайловны, не признавала. Какая тут дружба семьями! Лишь изредка вечерами Николай Александрович в домашних шлепанцах стучался в нашу дверь, они с отцом усаживались в столовой, о чем-то разговаривали, выпивали по рюмочке коньяку. Булганин очень уважал этот напиток. Его сын Лева, летчик, тоже любил коньяк. Порой, тихонько опорожнив бутылку грузинского КВ, он наполнял ее чаем и так оставлял в буфете, чем немало сердил отца. Николай Александрович нашел выход из положения, прилачился хранить свой коньяк у нас на кухне.

Вспоминается только одна общая семейная встреча. Дочь Булганина, Вера, моя старшая подруга, выходила замуж за сына адмирала Николая Герасимовича Кузнецова. По

этому случаю в квартире напротив собралась шумная компания, произносились бесчисленные тосты, веселились, как могли. Сосед снизу, маршал Семен Михайлович Буденный, весь вечер без усталости играл на гармошке.

Весной 1953 года в нашем доме появился новый старый жилец – маршал Георгий Константинович Жуков. Они с отцом подружились еще до войны, когда Жуков командовал Киевским военным округом. Потом судьба не раз сводила их на дорогах войны. В марте 1953 года Жукова, по настоянию отца, вернули из Уральского военного округа в Москву и назначили заместителем Булганина в Министерстве обороны. Благодаря авторитету Жукова в войсках, а также учитывая природную пассивность Николая Александровича, Г.К. быстро стал там полновластным хозяином.

Жуков заезжал на дачу к отцу нечасто, они вместе обедали, о чем-то говорили и разъезжались. У Жукова тоже появилась новая жена, но официальной супругой числилась Александра Диевна, так что и тут дружба семьями не складывалась. Другое дело – генерал госбезопасности Иван Александрович Серов. Они познакомились до войны, когда в сентябре 1935-го его, артиллериста, выпускника Военной академии имени М.В. Фрунзе, забрали в «органы», а в сентябре 1939 года назначили вместо арестованного Сталиным Успенского наркомом внутренних дел на Украине.

Отцу Серов нравился. В отличие от своего предшественника, он не подозревал всех и каждого, в частности поэтов и композиторов, в украинском национализме только за то, что они писали стихи на родном языке и использовали украинские мелодии в музыке. Вел себя, насколько это было возможно в тех условиях, по отношению к отцу корректно, не «ябедничал» на него поминутно в Москву, а это дорогого стоило. Тогда он, первый секретарь ЦК Компартии Украины, зависел от наркома внутренних дел, а не наоборот. Один неверный шаг, и¹¹²...

Все это, естественно, относительно. Так, 27 сентября 1939 года Серов доносит Берии о своем столкновении с Хрущевым по поводу использования им реквизированных в только что захваченном Львове автомашин. Серов любил с ветерком, сидя за рулем, прокатиться и знал толк в иномарках, а Хрущев приказал мощную машину из бывшего польского жандармского управления сдать и пересесть на отечественную эмку. В сердцах Серов пожаловался Берии, но в конце своего письма сбавил тон, пообещал принять все меры для установления делового контакта в работе. Конечно, Серов на Украине занимался «своими» делами и вершил их «своими» методами, но отцу он не докучал.

Потом война надолго развела отца с Серовым. Отец воевал на юге, а Серова забрали на повышение в Москву. После войны он на Украину не вернулся, стал первым заместителем у Жукова в Германии. Вновь они повстречались с отцом только в 1950 году в Москве, и шапочно. Серов, первый заместитель министра внутренних дел, по делам службы с отцом не пересекался. Отношения восстановились, точнее, заново возникли, только после ареста Берии. Отец посчитал, что ему можно довериться, и не ошибся.

В быту Серов оказался человеком обаятельным, обходительным, а еще более – его жена Вера Ивановна и их дочь Светлана. Последняя очень скоро подружилась с моей младшей сестрой Леной, дневала и ночевала у нас, а Лена стала своей на даче у Серовых. Они жили неподалеку, в Архангельском, на дачах, построенных по приказу Сталина для командного состава расквартированной в Германии группы советских войск. Сам Иван Александрович на дружбу не набивался, на даче у нас бывал редко, только по приглашению и только по поводу. Встречались они с отцом главным образом в его кабинете в ЦК на Старой площади. Упрочилась дружба с семьей Анастаса Ивановича Микояна. Его младший сын Серго когда-то учился в одном классе с Радой, а теперь подружился со мной. Жили Микояны совсем рядом с Огаревым, в бывшем имении бакинского нефтепромышленника Зубалова. В отличие

от большинства государственных дач, их дачу окружал не стандартный деревянный зеленый забор, а многометровая, почти крепостная ограда из красного кирпича.

После смерти Сталина все теснее стали общаться и наши отцы. По выходным отец отправлялся на прогулку, мы, дети, тянулись за ним. Подходили к высоченным железным воротам микояновской дачи, отец стучал кулаком в калитку. Через несколько минут с улыбкой спешил ему навстречу вызванный охранником Анастас Иванович. Начинался ритуальный обход окрестностей. Сначала перелесками, к полям местного колхоза, где отец экспериментировал с посадками картофеля. Оттуда лесом – к Москве-реке. Путешествие занимало часа два, а то и три, достаточно времени, чтобы обсудить недоговоренное на последнем заседании Президиума ЦК. Они традиционно проходили по чертвергам. О чем разговаривали старшие, я тогда не прислушивался и очень об этом жалею, но говорили они непрестанно.

Хорошо я запомнил первое знакомство с Молотовым. Он тогда мне представлялся легендарным вождем, почти ровней Сталину. Однажды отец сказал, что собирается навестить Вячеслава Михайловича и, как всегда, готов взять с собой всех желающих. Желателями оказались все, набилась полная машина. От Огарева до дачи Молотова в Горках-9 пешком не дойти, а на автомобиле минут пять-семь. У Молотовых меня поразило все: обширная, много больше виденных раньше, заросшая сосновым лесом территория дачи и длинный двухэтажный каменный дом с огромной цветочной клумбой перед входом, но более всего – сам хозяин. Он оказался совсем не вождем, а маленьким плешивеньким старичком. Принял нас Молотов нас радушно, провел по дому, показал все закоулки, особенно хвалился библиотекой. Но мне запомнилась не она, у нас книг стояло в шкафах не меньше, а столовая – огромная полуторасветная, облицованная «сталинскими» темными деревянными панелями комната с портретами Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина в четырех широких, явно под них спроектированных, простенках. Расстались мы радушно, но знакомство в дружбу не вылилось, так и осталось знакомством. Берию я почти не помню. Хотя они и «дружили» с отцом, но только до порога, в гости друг к другу не ходили. В одной машине подъезжали к нашему дому на Грановского, о чем-то договаривали, стоя у парадного, Берия уезжал к себе в особняк, а отец шел к лифту. Там, у парадного, во время одного из расставаний, я, возвращаясь апрельским вечером домой из института, единственный раз увидел Берию вблизи. Берия, отец и Маленков разговаривали, но завидев меня, замолчали. Я поздоровался. Берия сверкнул на меня пенсне. Запомнился серый огромный шарф, несмотря на весну, укутывающий шею по самые уши, глубоко надвинутая на лоб серая шляпа и неприятный, вызывающий озноб взгляд. Я поздоровался и пошел своей дорогой, а они продолжили разговор.

Да, тогда они «дружили». Вот только никто из них не знал, чем эта дружба закончится. Отец очень боялся Берии, понимал, что промедление смерти подобно. В буквальном смысле этого слова. Берия тоже опасался отца, но, видимо, не очень. Маленкова же постепенно начинали одолевает сомнения: на того ли он поставил? Берия могущественнее, сильнее отца, но он же и неизмеримо опаснее.

114 дней Лаврентия Берии

Тем временем Берия приступил к расчистке сталинских завалов под строительство фундамента новой, собственной власти. Сталина Берия ненавидел, как мингрел ненавидит осетина, как потенциальная жертва ненавидит палача, как всезнающий шеф полиции ненавидит сюзерена. Он ненавидел Сталина настолько, что не смог скрыть чувств даже у постели умирающего. В те дни в Берии смешались ненависть, страх и пресмыкательство. «Как только Сталин свалился, – пишет отец, – Берия в открытую стал пылать злобой против него. И ругал его, и издевался над ним. Просто невозможно было его слушать! Впрочем, как только Сталин, казалось бы, пришел в себя и дал понять, что может выздороветь, Берия бросился к нему, встал на колени, схватил руку и начал ее целовать. Как только Сталин снова потерял сознание, закрыл глаза, Берия поднялся на ноги и плюнул на пол»¹¹³.

«Только один человек вел себя почти неприлично – это был Берия, – вторит отцу Светлана Аллилуева. – Он был возбужден до крайности, лицо его, и без того отвратительное, то и дело искажалось от распиравших его страстей. А страсти его были: честолюбие, жестокость, хитрость, власть, власть... Он так старался в этот ответственный момент: как бы не перехитрить, как бы не недохитрить! Все это было написано на его лбу. Он подходил к постели и подолгу всматривался в лицо больного – отец иногда открывал глаза, – но, по-видимому, без сознания или в затуманенном сознании. Берия глядел тогда, впиваясь в эти затуманенные глаза: он желал и тут быть “самым верным, самым преданным”...»¹¹⁴

Изменения начались буквально с похорон Сталина. 9 марта, прямо в Мавзолее, Берия преподнес в подарок Молотову на его день рождения его собственную жену Полину Семеновну Жемчужину. Ее осудили, давно отправили в лагерь, но в 1952 году вернули в Москву, снова допрашивали, готовили к повторному процессу.

Сталин, по всей видимости, решил устроить над врачами-отравителями, а вслед за ними над всеми евреями показательный процесс и пристегнуть к ним через жену-еврейку «американского шпиона» Молотова. Вот Полину Семеновну и готовили к новой роли.

«Каганович сказал мне, – вспоминал Микоян, – что ужасно себя чувствует: Сталин предложил ему, вместе с интеллигентами и специалистами еврейской национальности, написать и опубликовать в газете групповое заявление с разоблачением сионизма. Это было за месяц или полтора до смерти Сталина – готовилось “добровольно-принудительное” выселение евреев из Москвы»¹¹⁵.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.